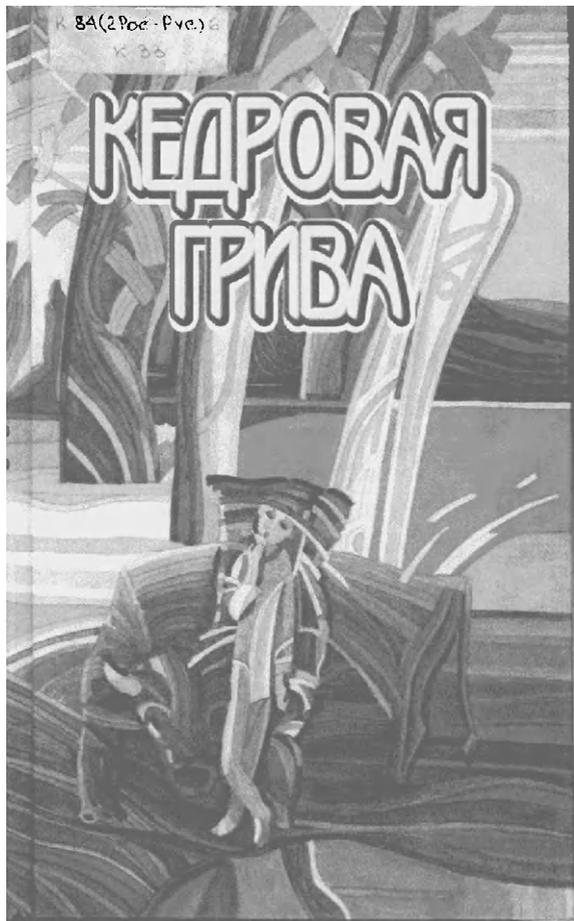


К 84(2Рос.-Рвс.) 6

К 86

КЕДРОВАЯ ГРИБА



К. 84(2Рос-Р)
К. 33

КЕДРОВАЯ ГРИВА

Стихи и проза
литераторов
Глинзевартского
региона

Нижнеуртовское
МУ "БИС"
инв. № 8048/1-1-КО

Екатеринбург
Средне-Уральское
общественное издательство
1998

ББК 84 Р7
К 33

Редактор-составитель С. ЛУЦКИЙ
Художник А. ЛИВН
Фото А. ПЕТРУЧЕНИ, Ю. ФИЛАТОВА

К 4803010205—021 Без обьемы. — 98
М 158(03)—98
ISBN 5-7529-0714-4

© С. А. Луцкий, сост., 1998
© А. В. Ливн, оформл., 1998

**70-ЛЕТИЮ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО
РАЙОНА
ПОСВЯЩАЕТСЯ**







**ВАЛЕРИЙ МАКСИМОВИЧ
ОСТРЫЙ**

родился в Самаре в 1943 году. Закончил Литературный институт им. М. Горького, двадцать лет проработал на предприятиях Нижневартовскнефтегаза, одновременно писал рассказы, повести, романы. Публиковался в московской периодике. Автор книг «На озере, посреди оксана», «Нецогода на широкой реке», «Таймы и ауты». Живет в Самаре.

Мастер Васютин

Рассказ

— ...Я хочу к тебе!

Он переложил трубку в другую руку. Изнанкой кепки провел по вспотевшему лицу, по красному уху, в котором не переставал звучать голос... Так и замерев с трубкой у одного уха и с кепкой у другого, он хрипло пробормотал:

— Мне идти надо.

— Я к тебе хочу,— кратко и уже обиженно сказала она.

— Ну куда же я тебя привезу? В общежитие?

— Если тебя сделали мастером, то и квартиру должны дать.

— Как же, жди,— и он с горечью махнул рукой. Но жсна этого не видела.

— Я хочу к тебе,— в ее голосе прозвучало все: и обида, и желанис, и раздражение, и нежность, и призыв.

В кабине стало слишком жарко...

...Васютин опаздывал: разговор, заказанный на девять часов, дали в одиннадцатом, а десять оплаченных минут обернулись полными двадцатью: девчонки-телефонистки были свои, знакомые, и не перебивали разговоры, которые Васютин вот уже год вел по телефону с жсной: часто разговоры эти приходили в их девичьи сны... Но ночная вахта отправлялась ровно в одиннадцать, и если мастеру нужно было о чем-то переговорить с бурильщиком или же он сам собирался на буровую, то приходилось спешить. И поэтому, выйдя из междугородной, он побежал, скользя поношенными болотниками и перепрыгивая через бескончасмыс канавы.

Длинный брезентовый плащ мешал ему, и Васютин с удовольствием бы заткнул его полы за пояс, как этому учили когда-то в армии, но на «гражданке» так почему-то не делали. чего-то стеснялись, и он тоже стеснялся — вдруг увидят?

А смотреть на Васютина в это время было некому — городок словно вымер, темнота была — глаз выколи, и только из окон, завешанных тяжелыми теплыми шторами, пробивались кое-где тоненькие полоски света. Васютин бежал по ориентирам — позади остались лампочки над почтой, над магазином. Сбоку, слева, мелькнул фонарь милиции... Наконец впереди показался длинный ряд «Уралов» и «ЗИЛов», обозначенный слабо подсвеченными ветровыми стеклами.

«Успел!» — мелькнуло в голову, и тут же его ослепило: один из «Уралов», высмотрев своего, стал высвечивать ему дорогу. Васютин, щурясь и загоразивая лицо рукой, пошел по слепящему коридору.

— Хорошо, хватит,— замахал он рукой. Но шоферу, видимо, доставляла удовольствие эта игра. Наконец фары погасли, и сразу стало так темно, что пришлось остановиться.

Из кабины, уступая место мастеру, вылез помощник бурильщика Ксенофонтов, удивительно худой мужик, припадающий на одну ногу. Залезая в кузов, он «обрадовал»:

— Сашки нет. В какой уже раз...

Васютин, торопливо буркнув: «Привет—поехали», не заметил интонации, с какой это было сказано. Усевшись в кабине рядом с бурильщиком Онищенко, совсем недавно переведенным в цех освоения из буровой бригады, он почувствовал, что вахта недовольна, и в первую очередь им, Виктором Васютиным,— недовольна из-за Сашки...

— Одного нет,— глядя в сторону, буркнул Онищенко.

«Ну а я-то при чем?» — чуть было не взорвался Васютин, но сдержался.

В бригаде все считали, что Васютин с Сашкой — друзья.

Так и было когда-то. Ровесники, почти земляки. Их и призвали-то одновременно. Однако Сашка демобилизовался на год позже — служил на флоте. А Васютин за этот год успел поступить на заочное в политехнический. Сашка же только мечтал об этом. Они уговорили команданту, и она поселила их в одной комнате. После

восьми трудовых часов они садились за учебники и занимались до изнеможения. Осенью Васютин стал второкурсником, а Сашке не хватило одного балла, чтобы стать студентом.

Казалось, все идет без изменений: в праздники гуляли вместе, иногда и не дожидались праздников — и получку. Сашка, тот и в выходные прикладывался, а уж после бани с венчиком — как закон. Васютин же себе этого позволить не мог — институт требовал свос.

Через полгода они, не сговариваясь, вновь пришли к комендантше: Сашке с Витькой стало жить «пресновато», Витькс с Сашкой — «шумновато».

А месяц назад Витьку Васютина, без году неделя бурильщика, поставили мастером той самой бригады освоения, в которой они работали вместе. Генка, один из тех, в чью комнату перешел жить Сашка, узнав об этом назначении, счел долгом утешить своего нового соседа: «Та-а-а... Значит, выучился наш Витя? Ну что ж, посмотрим...»

И вот теперь именно к Сашке мастеру Васютину предстояло примснить «административные мсры», о которых он знать-то знал, но пользоваться которыми еще просто не научился. О чем и напомнил ему Ксенофонт. А до Васютина это дошло только через полчаса...

— Иван Сергеевич, — хотел было посоветоваться Васютин, но Онищенко поправил:

— Максимович. Иван Максимович. — Он сказал это так жестко, что Васютин смутился, и в кабине надолго наступила тишина...

Настроение у Ивана Максимовича было ненажное. Еще бы! Его, опытного бурильщика, орденосца, выставили с буровой и отдали под начало какого-то мальчишки, которым все кому не лень помыкают и который, прежде чем отдать кому-либо команду, минут пять морщит лоб, обдумывая, что из этого получится...

Как такос могло произойти?

Онищенко стал буровиком едва ли не с детства. Лет в двенадцать он впервые увидел в трех километрах от села железную громадину, а вскоре бурильщик, примстивший застенчивого паренька, помахал ему рукой: «Ну-ка, иди сюда». Ваня поднялся по мосткам; сердчишко стучало чаще дизелей, в такт которым подрагивала вся эта машина.

— Буровиком хочешь стать? — спросил бурильщик. Ваня только сглотнул.

— Ну, так подошли ближе, не стесняйся. И бурьщик, поставив Ваню на свое место, доверил ему торшак, длинную стальную ручку, уходящую под оплывшие лебедки. Ваня двумя руками вцепился в эту «палку», с бурьщиком помогая ему, и они приподняли и опускали ее, и огромная двухкилометровая змея со стальной головой, устремленной к центру земли, нехотя повиновалась им, уходя вглубь еще... на несколько сантиметров, и еще, и еще. А сверху, над ротором, дрожала мелкой дрожью стальная двадцатиметровая игла, называемая «квадратом».

С тех пор эти слова — «кран-блок», «квадрат», «торшак», «свез», «додого» — навсегда вошли в жизнь Ивана Опиненко. И сейчас வருт подержать это? К пенсионеру, в сапожнике? Из-за чего? Из-за ко?!

«...Ишь ты видел, что твой мастер — дурак, Выникаха, погладим и дурак. И на буровую приезжает только отоспаться после поспек. И что дела он совсем не знает. Ну, может, и знает, только ску было не до дела... А ты ищешь. Все молчишь. Чего боишься? В деньгах он мог тебе прижать? Не-е-е! Матя... Машину хотелось. Ну вот и купи! А бригаду разогнали в конце копюза к чертовой матери! В освоение! Дожил...»

И все же его даже сейчас не покидало прелекуненное радости, к которой он шел три года, досадить в «Вату» своих двух девок и малюто — этот еще, правда, с кем-то ничего не понимает, жену... и — по всему Черноморью! «...Идет с ним, с этим освоением. Приеду из отпуски — разберемся...»

За окном промелькнул освещенный газовым факелом бокет Степана Аманова — мастера, пробурившего первую эксплуатационную скважину на Самотлоре. Степан был своим, начинал вместе в Башкирии, вместе сбили бурьщиками, сюда тот прискал уже мастером. Одним из первых. Мужик был...

— ...И как это случилось: — воскликнул Опиненко вслух.

Слова прозвучали так неожиданно, что Васютин оторопел. Потом искося, как бы нечаянно, взглянув на Опиненко. Но по лицу того лопить что-либо было невозможно. И Васютин, вздохнув, тоже шел в себя, нахаживая. Стало густо: до окончания института целых три года, да и после института неизвестно, сколько еще понадобится, чтобы стать вот таким же... сильным и уверенным, как этот сиденный рядом бурьщик.

А сейчас он, Васютин, даже Натанку, свою жену, и то не может вызвать к себе — некуда.

В бытовке бригады под потолком ярко горела стопятидесятка, палили два огнестыпающих «электрокозла», невразумительно орала включенная рация, и вразумительно, даже как-то старательно, матерился Генка, рабочий сменяемой вахты.

— ...такую работу! Пар идет, а спустили всего сто двенадцать трубок. Кто их укладывал на мостики? — не здороваясь, обратился он к Виктору и громыхнул мокрыми, с налипшей грязью рукавицами об пол.

— Ну, чего буянишь? — Виктор по-свойски положил руку ему на плечо. Как-никак, тот не раз приходил в «гости» — за чаем, за солью, за сахаром. Разговаривали — о том, о сем, о жизни.

Но тут Генка руку стянул.

— Что, нельзя было трубы путем уложить? Ведь краном работали, не вручную. Или, как поставили местом, забыл, в какую сторону муфты должны смотреть?

— Нет, не забыл, — уже без улыбки отвятил Васютин. — Трубы привезли в россыпи, одна туда смотрит, другая сюда... Не мог же я их по одиночке выдергивать? И так старались, как лучше, и если несколько штук...

— А я должен их ночью на животе разворачивать? Научили вас там, в институте...

«...По морде бы ему сейчас врезать...» — Но Витька только сунул руку в карман и повернулся к Миرونу Васильевичу, старшему сменяемой вахты. Генка не унимался:

— ...А трубы ты мог отпарить? Там же песку навалом! Шаблон встает посредине, и никакой кувалдой его оттуда не выбьешь!

Васютин вынул озябшую руку из кармана и, отодвинув захлебнувшегося в крике Генку, сказал ему:

— Выключи рацию. И помолчи сам. — После чего, вздохнув и выдохнув, обратился к бурильщику:

— Слушаю вас, Мирон Васильевич.

— Да вот, спустили сто с небольшим, — тот отвечал спокойно, но смотрел куда-то в сторону... — Тяжело дело идет. Через одну приходится разворачивать — муфтами лежат в сторону от скважины. И почти все забыты. Упарились мы... Спускать еще пятьдесят три, а годных осталось с десяток...

Васютин похолодел. Такого поворота событий он не ожидал. Никак. На семь утра была назначена промывка

скажины и ее прессовка. Это значит, что к семи утра придет техника, учет работы которой ведется по минутам. И если трубы к этому времени не будут спущены... Как же это он просчитался? Воль считал сам, должно было двести...

Там штук тридцать оказались с сорванной резьбой, а может, и больше, — ужаснул бурильщик, не отрывая взгляда от пола.

«Трубки-то не новые... Уже бывшие в деле... Э-э-э-ты-ы... Сорок труб! Где же их взять?»

Трубы были. Труб было много. Но лежали они метрах в шестидесяти от буровой, сваленные в огромную кучу, из которой он гучками выдирав их вчера «Азинмашем» и, подлезавшим на стреле, таскал на козлы, грубо нарушая инструкции. Но как поступить иначе, если эти шестидесять метров — нецарское болото? И он таскал трубы на «Азинмаше» сам, проваливаясь по колено в грязь и твердо зная, что нарушая инструкции лучше самому, чем заставляя делать это других.

Но то было вчера, днем.

А сейчас стояла ночь. И ни «Азинмаша», ни тракториста. И даже вахта не в полном составе.

О том, как притянуть эти сорок труб, думали все, но только один Овчиненко сразу понял: ломать предстоит не голову...

Ксенофонтов, посередевший и сторбинившийся, что-то бубнил себе под нос, но на него, как всегда, не обращали внимания.

Васютин тоже изменился и даже, но от него ждали решительного приказа, и ему приходилось держать марку, хотя внутри все тряслось от злости и ненависти к себе. «Шляпа, туши!» И, самое главное, предстояло еще посмотреть в глаза Опишею и Ксенофонтову, и при одной мысли об этом Васютин охватывал новый приступ отчаяния за ствол.

«Оставить людей, отработавших свое, еще на ночь, на шестнадцатиказовую вахту», — Васютин попробовал ухватиться за эту соломинку.

Мирон Васильевич ответил сразу. Да от него и трудно было ожидать помощи. Ему скоро пятьдесят лет, и он считал и пересчитывал месяцы, которые предстояло дотянуть до пенсии. Восемь часов честно отработанной вахты выматывали его до изменения, но за эти восемь часов он делал все, что мог, что должны

были сделать бурильщик и его вахта. Стало быть, Васильич мог и не опускать виновато глаза.

— Генка,— Васютин произнес имя, и показалось: они с Генкой наедине, в будке никого больше нет. Выручить мог только Генка. Все же свой — ровесник, сосед. И Витька нетерпеливо ждал, когда же тот наконец посмотрит на него и, пусть со злобой, пусть с обидой, еще раз устало грохнет рукавицами об пол и скажет: «Научили вас там, в институте. Считать не умеете». И — останется. Васютин ждал этого.

— Ну что, Васильич? Поехали,— Генка даже не обернулся.

Виктор подошел к окну, открыл верхнюю створку. На скважине было темно и мокро. И откуда-то сверху, вместе с дождем, лился отсвет газового факела, полыхавшего за лесом километрах в десяти отсюда.

Надо было принимать решение. Отменить прессовку? Перенести ее на два часа дня? Значит, надо переносить и последующую перфорацию. Значит, поломается график работы многих цехов и служб, десятков людей. И все только из-за того, что просчитался он, Виктор Васютин...

Однако пора что-то решать.

— Пойдем посмотрим, Иван Максимович? — просительно позвал он бурильщика. Тот только глянул исподлобья и поднялся. Вдвоем они вышли из будки и остановились, оценивая ситуацию.

По прямой от лежащих на сухом пригорке труб до мостков у скважины было метров шестьдесят. Вообще-то трубники всегда подвозили трубы поближе, но на этот раз то ли им что-то помешало, то ли бугорок действительно оказался единственным сухим местом на площадке...

Ивану Максимовичу давно все стало ясно. Сорок труб надо было на горбе или на животе — это уж как хочешь — перетащить через болото сначала на колы, а потом спустить в скважину до забоя. Конечно, этот молкосос может попробовать его заставить, как-никак — мастер, но Опищенко не мальчик на побегушках и пошлет Васютину подальше... «Пентюх...» — почти про себя буркнул бурильщик, а потом громко и зло добанил:

— Ну что, начнем, что ли?

— Да? — обрадовался Васютин.— Давай, Иван Максимович.

Войдя в будку, Онищенко бросил Ксенофонту
— Одевайся.

С помощниками у него разovor был короткий — на буровой он привык, чтобы команда выполнялась с полуслова. И поэтому сейчас чуть удивился, увидев, как Ксенофонт, не торопясь и бурно, начал ковыряться среди сохнувших роб. Впервые Онищенко подумал: «Ведь переломится. Ну и помощник...»

Ксенофонт за не трогали, знали, что где-то в Банкири у него большая мать и гуinea жена, которым он ежемесячно отправляет почти всю получку, а на что живет сам, неизвестно. И все же в освещении держали и таких худосочных, — неоставая желающих работать за малые, по северным меркам, деньги.

— Готов? Пошли. Онищенко, как ребенка, оглядел Ксенофонта.

— Положите, мужики, — доносилось из-за перетордки — Я шас!

Онищенко, взявшись за ручку двери, остановился, недоумевая. Этого он от мастера, даже такого чмопото, как Васютин, не ожидал. Мастер — это мастер. И таскать трубы ему не пристало.

— Да ладно-о... — протянул Онищенко, испытывающе глядя на Васютину, но тот лишь коротко бросил:

— Готовы? Значит, пошли.

Первую трубу взяли вавоем Васютин и Онищенко.

Вперед шел бурдышник. Метров двадцать двигались потихоньку, осторожно нащупывая тропу, потом осмелили и тут же поплтались за это — правая нога у Онищенко скользнула по затопленному бредню, и его повело, закатывая, в сторону... Чинювские возмозности с трудом. Полминуты постояли, вскрывая дышанье, и пошла дальше, уже не торопясь. Трубу положили на кельи осторожно, почти нежно, и молча постояли над ней.

— Одна есть, — нетерпеливо бросил Васютин. Онищенко только усмехнулся.

К Ксенофонтову, ожидавшему над губой, подошли одновременно, по первым успел нагнуться Васютин.

«Ну что ж...» — подумал Иван Максимович и отступил в сторону. Работа предстояла тяжелая и долгая, но ругать Васютину, даже про себя, Онищенко уже не хотелось.

Истав голыным в паре с Ксенофонтовым, Виктор постарался оставить вперед себя как можно больший кусок трубы. Плечо, придавленное тяжестью, запроте-

становало, Ксенофонов что-то промямлил. Виктор лишь прокряхтел в ответ.

Положив трубу на козлы, Виктор помахал рукой, стараясь оживить онемевшее плечо, и, не дожидаясь замешкавшегося Ксенофонта, быстро пошел в пару к ожидавшемуся Онищенко.

Тот опять только взглянул исподлобья на мастера и молча шагнул ближе к середине трубы...

К двум часам ночи мелкая дрожь, охватившая Васютина, сменилась тупой, спекшейся болью на обожженных плечах, но он, так ни разу и не уклонившись, подставлял их под тяжелевшие с каждым разом трубы.

...Сашку заметили одновременно.

Стоя возле связки, они переводили дыхание, невольно отдаляя ту минуту, когда на стертые плечи предстояло нагрузить очередную, девятнадцатую трубу.

Молча, тяжело смотрели, как приближаются Сашкины сапоги, как они останавливаются. Не в лицо же ему смотреть?!

— Пойдем чайку попьем, — хрипло выдавил Онищенко, с хлюпом вытаскивая сапог из жижи.

— Вы идите, а мы тут...

К Сашке у него не было ни обиды, ни презрения. Злиться имело смысл лишь на самого себя. Но себя ругать сил тоже не было. Их хватало ровно на то, чтобы перетаскать сорок одну трубу — ни больше ни меньше. И тратить силы нужно было только на это. И все-таки... Ясности хотелось — что он за человек, Сашка, с которым одно время жили душа в душу. Хотелось определенности — друг он или недруг или просто знакомый. Быть же равнодушным Виктор еще не научился.

— Бери, — и он нагнулся за очередной, девятнадцатой, трубой. И Сашка, не говоря ни слова, нагнулся — за своей первой.

Шестьдесят метров они прошли молча. Но, сбросив на козлы центнер металла, только что давивший на плечи, невольно взглянули друг на друга.

— Почему опоздал?

— Проспал...

Сашка мог «пропить» вахту, но проспать?! Это было что-то новое. Виктор удивленно вгляделся. Хотя от Сашки пахло вонью, но видно было — трезвый.

— Ну и спал бы...

— Генка не дал.

— Перевернулся бы на другой бок...

На этом Виктор собирался закончить пустой разговор, как вдруг услышал:

— Уж больно он доволен был...

— Чем же? — прикидываясь испонимающим, спросил Васютин.

— Не знаю... — Сашка замолчал, и Виктор, подождав и не дождавшись объяснения, первым выжело направился к будке.

Пойдем перекурим.

Здесь было жарко. На «электрокозле» закипал чайник, и Онниченко полез в холщовую, еще послевоенных времен сумку, достал оттуда пачку чая, и вскоре густой аромат заполнил всю будку. Чуть насмешливо улыбаясь, бурльщик протянул кружку Виктору.

— Подкрепись, мастер. До конца еще далеко.

Васютин принял кружку и попытался поднести ее ко рту.

Но рука как-то неожиданно, рывком, согнулась в локте, и чай, расплескавшись, обжег губы. Сморгив шпесь, Виктор хотел поставить кружку на стол, но рука вновь дернулась, и кипяток на этот раз обжег руки.

— Чес-с-рт, — ошелоно и стыдливо протянул он, но никто не засмеялся. Устали... Понадобилось минут десять тепла и покоя, чтобы руки наконец отошли.

После чая Виктора заморозило, он замерзает, и тут же к нему пришла его Наташка, причем это было настолько ясно, что он вздрогнул и очнулся. Только что перед ним лежало коричневое поле с ровными, аккуратно подстриженными рядами густо-зеленых кустов, за ними, вдали, вставали могучие горы со снегом на вершинах, а из-за гор выходило оранжевое солнце. Под солнцем, вся в золотистых лучах, стояла его Наташка. «Я к тебе хочу», — и протягивала к нему руки...

И вот уже ничего нет, кроме ярко освещенной будки, безразличного Онниченко и поспывающего Ксенофонта. И Сашки, прижавшегося к темному окну, разглядывающего что-то: то ли в глубине ночи, то ли в глубине самого себя...

— Ну что, пошли, мужики?

Первые пять труб были как раскаленные. Потом немного остыли, и лопы, как говорится, дым валил из ноздрей и из ушей, дело пошло. Работали парами. Васютин шаг в шаг шел с Онниченко, а Сашка брался чуть ли не за середину трубы, и Ксенофонтов оставалось только держаться за ее конец.

Но через час, после тридцать четвертой трубы, дело застопорилось.

— Я сапог проткнул,— скрипучим голосом пожаловался Ксенофонтов.

В сушилке валялись чьи-то растоптанные ботфорты. Трос персглянулись, и Онищенко командирским голосом приказал:

— Иди переобувайся. подсушишь. Ключи проверь. Скоро спускать начнем...

Но Ксенофонтов удивил:

— Да я как-нибудь... Колхозом-то легче...

Что-то было в этом голосе наивно-детское и чистое, такое неожиданное здесь, ночью, посреди огромной лужи, у края черного, мертвого и знаменитого Самоглыра, посреди хляби и железа, в которых копошились четверо измученных людей. От этого несоответствия, казалось, даже время остановилось.

И Васютин вдруг почувствовал себя совсем взрослым мужиком, даже старше Ксенофонтова, и по праву старшего распорядился:

— Иди-иди, Ксенофонтыч. Мы управимся. Спасибо, подвыручил.

Последнюю, сорок первую, трубу они несли с Сашкой. Сбросили ее па козлы, уже не остерегаясь, что она может сыграть — ударить тяжелым концом одного из напарников. Потом они привалились к матово поблескивающему в свете прожекторов железу и даже закрыли глаза от удовольствия.

Онищенко, который задумчиво наблюдал за ними из окна будки, встряхнулся, на лице его сначала появилась усмешка, потом улыбка, потом он посерьезнел и скрылся в глубине сушилки.

— А все же я с тебя половину премиальных сплему...— сказал Виктор.

Сашка помолчал, а потом неуверенно промямлил:

— Да ладно тебе...

— Ниче-ниче... А то спишь больно сладко, снотворного много принимаешь.

Сашка промолчал. Потом, глядя Виктору прямо в глаза, полупрошептал-полузаявил:

— Лучше возьми обратно к себе в комнату...

Тог растерялся, смутился, даже отвел глаза. Но потом чуть насмешливо и грустно спросил:

— Что это ты? Вроде так весело живешь...

— Да так,— потупился Сашка. И задумчиво добавил:

— У тебя булзеник лучше работает. Точнее.

А вокруг них светало. Черные, жесткие контуры тайги, обступившей кольцом осенней лядынь лизачок, сведены. Прокисилась, стили заметны разбросанный кучками по пригоркам кедров, дальний бор на холме, лежневка, уходящая поворотом к бетонке, озеро, раскинувшееся рядом с буровой. Но Васютину виделось дальше. Во-о-и там, за озером, — Нижнеартовск и Мегичи — а в Мегичино, западнее, почти на одной параллели — Сургут и Нефтеюганск. Севернее — Пазы, Пунга, Березово — новые и старые сибирские города. И между ними плетется, извивается Обь, такая могучая, но уже прирученная. А рядом с ней, уступая ей по ширине, но не уступаая по длине, протянулись во все стороны нити газопроводов и нефтепроводов.

И тут Васютину вспомнил учебник географии. (В каком же классе он учил географию? В шестом, кажется.) И вот там, в учебнике, была такая зеленая карта Западно-Сибирской низменности, а на ней спаренные, чуть «наискосок», черточки, обозначавшие — болота, болота, болота. И сама карта казалась болотом, покрытым мхом. Но то было давно, а сейчас? И он карту почувствовал себя одним из тех, кто составляет карты, по которым будут учиться завзрание шестикласски. Ох и задаст он им задачку! Придется ребятам поспеть, погостить над совсем другой, сложной, красивой картой. Не то что раньше — болота, болота...

И Васютину стало приятно, и, стряхнув с рук мокрые рукавицы, он — впервые за свое командирство — по хозяйски пошел в будку.

Аргатай прибыл точно в семь. Принимавший скважину представитель нефтепромыслового управления присел вместе с частой. Все шло по плану. Васютин о чем-то говорил с этим парнем, когда его окликнул Ониненко, уже сидевший в кабине «Урала»:

— Не господь, Виктор?

— Да куда же, Иван Максимович Одрессовка. А вы спасибо...

— Ты вот что, Виктор. Я с понедельника в отпуск уложу. За два года. На юг отпраивность. С семьей. Решили проверить состояние Черноморского побережья... Тебе, я слышал, жену некуда привести. Так на три месяца можешь съездать в мои хоромы. Годишься?

— Наталья? Это муж твой говорит. Да-да, тот, который Виктор Сергеевич. Так вот. Завтра на первый рейс, наверное, не успеешь. Но со вторым — жду. Ты приезжай, узнаешь. Да нет... Но... Во всяком случае — там видно будет. Там, я тороплюсь, мне к вахте подойти надо. Нет, не поеду... наверное. Просто с бурильщиком поговорю. Так со вторым встречаю...

До самой стоянки он бежал, легко перепрыгивая через огромные рытвины. Внутри все пело: «Завтра, завтра, завтра», но надо было торопиться, потому что вахта уезжала ровно в одиннадцать, а разговор, заказанный на девять, дали в половине одиннадцатого, и потому-то десять оплаченных минут обернулись неполными тремя, чем Васютин ужасно огорчил знакомых девочек-телеграфисток, которые вот уже год слушали, замирая, его разговоры с женой. Путая при этом номера других абонентов...



**ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
КОЗЛОВ**

родился в 1937 году на Алтае, окончил
Уфимский нефтяной институт
в Томской области в 1961 году.
Прошел трудовой путь от помощника
бурильщиков до главного инженера
Балхаш нефтяногазодобывающей экспедиции
и лучшего технолога объединения.
Печатался в московских и региональных
изданиях, автор книг «Теплень...»,
«Дорога в тридцать лет», «Мы —
мегаполисы» и других.
Живет в Мегионе.

* * *

Летим!
Не в космос —
на работу
в Сибирь, она без нас там стынет.
Там радио бурое болото,
как марсианские пустыни.
Наш край для мужества не узок,
познаешь здесь свою всеомость!
Ну, а пределы перегрузок
тебе твоя укажет
совесть.
Тучи скорее
сигарету
и — в небо
ярко-голубое.
Сибирь, как новую планету,
должны
освонть мы с тобою,
не загая сюда микроба
нажны,
равночества
и злобы!

Утро на буровой

Меж стволов, словно клюквенный сок,
брызжут солнца бордовые струи...
Ну-ка, вышка, привстань на носок —
заиграли веселые струны!

Будет пляска твоя неспроста:
наша скважина лучиком тонким
пробивается в дебри пласта,
в вековые потемки...

Ну, а ты что смурная, душа?
Засветись, как бывало, приветно,
непогоды и тьмы не страшась.
Может, не безответно.

* * *

У нас и в мас крутят вьюги
над буровыми карусель...
...Весна рождается на юге,
взрослеет в средней полосе.
Пройдя закалку на посевах
и, силы солнечной набрав,
работать
к нам идет, на Север,
могущественна
и добра.
У нас сй можно
развернуться:
у заполярных берегов
меридианы даже
гнутся
от плотных
нынешних
снегов...

Концерт в тайге

В тайге отличная акустика.
когда мороз под пятьдесят.
Нога на снег едва опустится —
и словно скрипки зазвучат.

Смычки то разом заколпнутся,
то запоют наперебой...
По всей земле, наверно, слышатся
шаги идушего гайды.

Весеннее

Это здорово — правда? —
очутиться в Тюмени
вот в такой же весенний
ослепительный день
и почувствовать заново
запах сирени
и увидеть
сиреню-синюю тень!..
Это здорово — правда? —
досле серых, как скука,
и колодных, как смерть,
заполярих сезонов
вдруг на землю упасть
и послушать: я ну-ка,
как ты дышишь, земля!
Я — чертовски здоров!
Чувешь, как от меня
накнет волей и потом
и как инчи блужденно
гудят в сапогах?
Им досталось шагать
по тюменским болотам:
как никак, я всю зиму, земля,
на ногах!..
Это здорово — правда? —
шагать по асфальту
в остроносых ботинках:
легко — как босой!
Так и хочется сделать
на улице сальто
или просто пройтись
по земле колесом!..
... В сквере возле вокзала
звонкоголосе пенле —
здесь скворцы начинают
раньше прежнего
петь...

Это здорово — правда? —
очутиться в Тюмени,
а потом
до весны
вновь в тайгу
улететь!..

* * *

Гроза промчалась
бешеною тройкой,
обдав водой
замешкавших людей.
И облака — что пена
с лошадей,
опавшая на ветхие
постройки...
И, словно плетки
многохвостый кончик,
сверкнет разряд —
разластят щелк тугой.
Над гривой леса
радуга дугой,
и вертолет над ней,
как колокольчик...

* * *

У голубики цвет иль свет —
когда она под осень спест?
Весь голубичник голубеет,
как долгий северный рассвет.
В себя вобрав голубизну
тумана, сумерек, — тревогу
берет у сирых и убогих,
когда, вздохнув, они уснут?
Не оттого ль тот синий цвет
щежит мне сердце с малых лет...

* * *

Милые березки! У меня
легкая рука, наверно, все же,
как вы в рост идете, затея
мне окно веселою мережей!..
По соседству шелковистый келр —
как мальчишка, притая он в росте.
И шестет шиповник в холодке,
с длинными колючками — как остью!
Те, кто замышлет доброту,
вряд ли на нее способны сами...
Мне ль забыть ржаную корку — ту,
дланенную добрыми руками?..
И вот вдруг — устал я от людей.
Но жает мне радости работа...
Оттого ль стремлюсь я в плесн ветвей
в этот ллинный день солщисвороте?..
.. Я полню вас ложлевой волной,
чуть живешей,
из дубовой бочки.
Примете ль меня в свою кидоль
боковым
молоденьким росточком?..

* * *

И роза прошла,
но посмотри,
какое совершилось чудо:
деся,
подобно изумруду,
вдруг засветились
изнутри,
ямтарно светятся
поля,
в твоих глазах
души свеженье...
И вся вдымает
с облетением,
как бы проплакавшись,
земля..

* * *

На Ермаках такое разнотравье!
На Севере ли, полно, нахожусь?..
Не знаю, как здоровье травы правят,
но душу исцеляют — дарят грусть
вот по такому ж разнотравью детства,
где первоцвет, дубравка и чабрец!
Цветочное
злсно наследство!
Его на фронте защитил отец
ценою жизни... Мятлик...
Кровохлебка...
Благословенна будь
вовек,
трава!
Кипит в ложке веселая похлебка,
и от пыльцы светлеет голова...

На бочке с нефтью
лопнула заклепка —
на Ермаках
поникла
мурава...

* * *

Октябрь, а навигация на Вахе
в разгаре: катера вовсю сплывают..
Но хмурый день в мерлушковой папахе
отары туч угнал пастишь на юг.
И вывездило в ночь, пока мы спали
коротким, но, как в детстве, сладким
сном.
А утром — словно бы попали в Палех,
где черный лак в контрасте с серебром,
где отраженный мир означен резче —
сквозь черному просвечивает суть...
И весь пейзаж пока очеловечен
лишь одиноким следом на мысу...

* * *

Хоть и бабье лето на дворе —
бусенц все сроки перепутал:
морозью парной весь мир окутал
Вот в такую грустную минуту
встретились с тобою в сентябре.
Были в октябре денки зато —
будто летом, с солнечным приглядом!
Ты меня своим милом выладом,
я хочу с тобой быть вечно рядом,
отыщи в своей душе затон!
Что ж! Живи... Пока пурги и выюга
будут выть и с ног меня валить —
ты э душою моею. Лени нодути
над колдуи над квадратурой круга...
Можешь просто паруса смолить
... В марте вновь, весны почуя смуту,
на брусчатой брезжущей заре
увидишь.
И снами, перспутив
все мне в жизни,
ты в сию минуту
водишь тихо —
в светлок: сентябре...

Вахтовый роман

Ах, казачонок какой, надо ж, вылитый я!
Что ты, роднула, да разве б я стал
отпираться?!

Вы же с ции для меня
как розня семья!
Жалко мне: не могу разорваться!
Не могу, не могу разорваться...
Вспомни, сердэнько, как встретились мы
на «кусте»,
были тогда времена золотые. эй-Богу!
Жаль, сейчас уж не те...
Я ведь чего прилетел?
Распрощаться: закрыли дорогу...
К вам границы закрыли дорогу!

Что ты, кохана, да все образуется, как
В лучших домах и семействах Парижа-Лондона:
Подрстет сибиряк,
И, как добрый казак,
Он поластя до батькина дома,
За границу, до батькина дома...

* * *

Я тебя забывать погожу:
еще пахнут тобою подушки,
и волос твоих солнечных стружки
то и дело еще нахожу...
Я тебя забывать погожу.

Я тебя забывать погожу...
Не подумай, что просто не в силах!
Специально твой маленький снимок
я в нагрудный карман положу
и тебя забывать погожу.

Я тебя забывать погожу,
хоть, наверно, не свидимся боле...
Я с тобой перейти думал поле,
да, видать, не осилил межу,
но тебя забывать погожу!

Я тебя забывать погожу...
Но и так убиваться — не дело!
Будет трудною эта неделя.
Что скрывать? Все понятно сжу!
Потому я чуть-чуть погожу.

Погожу... И в окно погляжу:
облепили рябину синицы...
Ах, как хочется вусмерть
напиться...
Но пока погожу.
Погожу.

Голодание по Брэггу

Рассказ

Митхат — для всех Михал Михалыч — чертыхался с утра: срынулась поездка в Киев. «Какие могут быть отгулы у итэровца, да еще в конце месяца? — Начальник экспедиции сделал удивленное лицо. — Плана еще нет, а ответственный работник — начальник смены! — в отгулы? Делать!»

У Митхата томленный румянец пошел по щекам, но он смолчал. Лишь про себя огрызнулся: «Ты начальник, я дурак, да?» — и стал заниматься иривичными делами.

В конце шло появился его шеф, кандидат ШИТС.

— Дернуло тебя отпрощиться! — узнав, в чем дело, попенял он Митхату Шиф сделал Митхату заказ: купить в Киеве то-се и поэтому был сейчас недоволен. Походил, посочел и решительно рубанул:

— Ладно! Яра! Беру на себе — леги.

Быстренько передвигаясь, Валере и мотал!

Обрадованный Митхат нашел своего сменщика, перелал ему все «ноу-хау» и в одиннадцать вечера омыл уже в Киеве, пил «Ювидейное» пиво...

Буровая располагалась на небольшой гринке, напоминавшей спину ископаемой рыбы с остатками плавников, заснувшей посреди топей. Болота уже отошли, но талые воды еще не сбегали и медленно плитовались в торфяную подушку...

На кронблоче вышки, на самой верхотуре, легкий ветерок прохладный, приятный. Во весь оком голубоватая, сс-чаяя, полярная, как протоплазма под микроскопом, узорная гладь подтопленных болот. И только кое где у горизонта темно-синие, почти чернильные, как плавнички леща, гребешки кедровых грик. Легкие, белые, с легкой полубайкой облака плывут лениво и беззаботно. Засмотрелся на них, и голова закружилась — покажется, что и вышка, как стебель, покачнулась и пошлая вместе с ними...

«Эх, крылья бы сейчас! — подумал Слава Мисюк. — Или лучше материализоваться бы сейчас у тетки... Дзу-у — и у Києсе... На всраде кафе, под зонтиком... Бутербродики с бузинной, колбаска, рыбец... Подложки «Ювидейного»... Снизу — «хвилья донупровска бс...» Слава, замечтавшись, наступил на погнутую ступеньку,

и сердце обмерло. Ниже спускался уж медленно, держась за перила обими руками.

На полатах — балконе верхового рабочего — задержался, постоял в люлке, перегнувшись, посмотрел вниз — высоко! До армии работал — и ничего. Погоди-ка... Он вспомнил, как на «всякий пожарный» делали зачачку: прятали пол обшивку курево, чтоб не спускаться, если забудешь. Пошарил в подходящих местах и... нашел початую пачку «Бломора». Табак чуть подплесневел, но еще пах крепко. Славка посмотрел — фабрика Урицкого. Умели делать! «Обрадную сейчас Илюху!» — подумал с удовольствием. «Может, и самому покурить?» — мелькнула тут же отвергнутая мысль. — Пусть Илюха травится...» — усмехнулся беззлобно.

Слава Мисюк — бурильщик летной бригады, которую начальство постепенно, измором, сокращает. Неделю назад послал его сюда Михал Михалыч с трактористом Илюхой снять кое-какое оборудование и подготовить к взлету. Они зарыпались было: «Спальников нет, жратвы, накомарников...» Тот оборвал их круто: «Ты (Илюхе) — по пьянке, по статье, а ты (Славику) — под сокращенье... Выбирайте!» Потом взял себя в руки, расплылся в бодрой улыбке: «Надо, хлопцы, надо! — И ловито: — Завтра выведем, добре?»

На буровой несколько раздербаненных балков. Выбрали маленский, дерсвятный, грязный, но с «буржуйкой»: кругом сыро и зябко, а тут кипяточку сварить можно...

Поупирались они хорошо и к поздним сумеркам работу сделали.

Харчи сразу распределили на три дня: вдруг нелетная погода. Про то, что могут о них забыть, не подумали. И когда назавтра вертолет не прилетел, они не взволновались: мало ли что, проколы бывают. Тем более что Михал Михалыч отправлял, а он не то что Валера-батамут. Тот всех первым рейсом отправляет: «А чо — нет? Первым рейсом... на следующий день... после обеда... Х-ха-ха-ха!..»

Два дня они придумывали всяческие оправдательные версии. И все разговоры, с чего бы ни начинались, сводились в конце концов к этому: «Да что они, так их перетак, издеваются? Эксперимент на выживаемость проводят!..» Пошарятся по остаткам гривы, ягод поишут, в болота сунутся, снова сойдутся и давай шестерить и Миншу, и Валеру, и диспетчеров, и вертолетчиков,

и начальство... «Все! Завязываю с Севером! Картоплю буду в кожухе пароварить!» — говорит один. «Тошна! Лапти плести оулу, клюква собирать!» — вторит другой.

На четвертый день, когда они уже «подложили зубы на полку», в одном из балков под нарами обнаружился с полведра дробной картошки, израсшей, с новыми, с горошину, клубничками на корнях, и залпесневелые хлебные корки. «Занашка будет!» — предложил Илюха. Но недолго выдержал: «Ай, нехорошо! Похмелье: прошел, жор напал... Похлебка давай варить будем». Пашел двухлитровую жестянку из-под томатной пасты и через некоторое время помещивал вариво деревянной ложкой, вырезанный из кедровой щепки, навздвигал: «Ай, хорошо!». Тапера бы солдатский сюда — для навару. Нишава, солилол буровой визал. Вместо попилда — с шзем... А, Славкя?»

А у Славника с утра в желудке пососало да и прошло: легкость в теле и как бы злов какой-то, а есть не хочется. Такой видички испил махость и больше ничего не жагает.

Илюха устал приглашать его, ест да нахваливает: «Ску се... Нам больше достанется! Нишава... Потом будем подметка варить... кирзаш... Похлебка — вспоминать будем: какой ску-се был!»

С собой Славик прихватил дорожную сумку. Мешок со спелосежкой и зимним барухом остался в катерке на вертолетке. В сумке все необходимое. Подравнивая щепочку усев, предложил и товарищу по несчастью: «Бороду побрей! А то на китанца похож... На императора Цзин...»

Щурл светлые глаза в черных ресницах, вскинув широкие, запятыми, брови. Илюха льбится, поглаживает редкую шестину на круглом полбородке, мечтает: «Китайца «эк китайца... Нишавя! Как на бату прилетем — банька гулем, борода бреем, вечером Люська зяда инды... Хороший! Баба Люська, только путана мал-мало: теричега не-у... Лагна Ярар. Получаем денга и — уле-лаем! Отсу-матери гулем! Ты, Славкя, брей усы, не брей — опоздал свой реиса... Ложись, береги сида».

Славик живет в Чернигове — у оулу, под Житомир — у матери, в Киеве — у тетки. В прошлый раз отгулды он провёл у тетки. В первый же день в трам-вае, когда сжал в Пуше-Иодяцу, к нему прицепилась энергичная, по-спортивному одетая девица. Назвалась

помощником режиссера с киностудии Довженко. Стала настоятельно приглашать на кинопробу на роль инока в историческом фильме: «У вас в глазах нечто трагическое!» Думал, разыгрывает. Но рискнул. И — о, чудо! Утвердили. До сих пор не верится! Только, сказали, речь подправить нужно. Но это не проблема: у них есть специалисты... Об этом он — никому ни слова! Думал взять отпуск. И вот, если через неделю не прилетит, будет поздно. А так — самому себе страшно, боязно представить — как судьба может крутануться! А что?.. Подравнивая ниточку усиков, подравнивая баки, он шведлил длинными, шнурком, бровями, то прятал в ресницах, то тарачил темно-коричневые горячие глаза, искал в них «нечто трагическое». Зубы вот со шербинкой да седина в чупрыне пробивается — надоело выдергивать. Шея длинная, витая. Да и фигурой Бог не обидел. А дикция — да, есть такой грех: говор местечковый. Житомирский проскальзывает. «Надо будет — выправлю!» — решил он.

Славик спускается с вышки, думает о всякой разности, но не может избавиться от назойливой мысли: «В последний раз... В последний раз. Больше не подняться».

А что, может так и статься, запросто. Четвертый день, как он пьет только талую воду: в завале снегу много под слосм мха, торфа, искореженных кедров и берез. Читал — полезна талая вода. Илюха посмеивался сначала, а как похлебку дорубал, тоже присоединился.

Площадь, на которой располагалась буровая, находится на отшибе, пролегающих вертолетов не видно. Два раза в сутки с небесных высей падает на парней гул. Задрал головы, они видят пушистую нитку инверсионного следа, опадающую то на северо-востоке, то на юго-западе. В эти моменты так хочется оказаться в салоне лайнера! Сейчас подадут куриную ножку в целлофане, ломтики черного хлеба, вафлю, пакетик кофе... Съесть бы все это! Вытереть салфеткой рот, пальцы и взглянуть в иллюминатор. Оттуда все эти болота и тривы сквозь голубоватое марсво представляются марсианскими пейзажами...

«Киснуть Илюха начал. Почти сутки койку давит. Статьи «Беломорчик», обрадую хлопца...»

И точно: зашевелился Илюха, брови вверх полезли, краешки губ к ушам в гости отправились, ямочки на щеках проступили.

— Ну, Славка!.. Шасс дадим в зубы, чтоб дым пошел.. Полез за угольком. Прикурив, смачно зачмокал: — Ая. Славка. Широка. Хомс ты. Славка!.. Давай, кури: может, банку тушенки с коркой хлеба выпещишь.

— А шматок сала не хочешь?
— Давай и сало — пойдеш!..

Голодные места вокруг буровой: прошлогодний ягод нет — год был засушливый. Кедровый орех тоже не уродился, старых шишек нет. Морошка только зацветает, у брусники невзрачные цветки чуть проклюнутся, грибная пора не пришла. Да по болотам и не находишь.. Славка в кроссовках, а Илюхины болотники ему и на нос не налезут. Илюха же по болотам не ходит: «Боюсь, как шайтаны». И рассказывал, что однажды, когда у сейсмика работал, провалился вместе с трактором. Как выбрался, не помнит. Отчулся, сразу же уволился — перешел к буровикам.

Славик нашел старые кирзачи на одну ногу, присоборил куски ларинта вместо подтянок и обследовал окрестности, насколько позволяли голенница сапог.

— Дини нет, ягод тоже — нишав! Хорошо, что мишка нет! — успокаивал Славика добродушный Илюха. — Когда мишка на буровой — нехорошо! Прошлый год на Екманской два дня мишка гулял. Технику ремонтировали с Седым. Знаешь? Клановщина! Я штрафником был — съезарил. Помогал ему. С Седым два дня в балке сидели. Елы много.. Шасс би половину, а? Мишка помонка пещется, гуляет мимо. А на Седой, на грех, мслезья болезнь напал. Ще лезать? Мишка пойдеш мимо, дщерь отчуждай и — прямо нямол! — по немчу! А ще? Так и делал. Когда мишка помойка рылся, канишина.

За неделю они порассказали друг другу много всяких историй, приключившихся с ними. И анекдоты вспоминали. И взгляды на жизнь сверши.

— Выберемся отсюда — ко мне поедем, деревня. Отец мать обрадуются. «Вот, — скажу. — Славка. Соли, — скажу. — много с ним не кушел, но он хороший знакоч — друг то есть мне. Угщивайте, мать-отец, ето..»

Славик расстроился от этих слов, в глазах пристыженного захлтел. И в благодарность за дружеское признание Илюхи он поделился с ним своей тайной.

— Жалко, если не успею, — вздохнул. — И главное, поведеш! В Софийском соборе эпизод должен сниматься.

Хорошо бы успеть! Ты смотри, Илюха! В одном эпизоде инок, которого мне роль выпала, постится! Голодает то есть. Как мы. Но добровольно. Вот сейчас бы сразу — на съёмки: жизненная правда обеспечена.

— Точно! В дороге еще потерпи — будка сапсем будет, как манах...

— Слушай, что говорит там инок: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Ну... там еще, но я не очень запомнил, а вот эти слова — чисто о нашем времени...

Вернувшись из Киева, Митхат — Михал Михалыч — передал заказы шефу, почувствовал: угодил, потрафил вкусу начальника. А шеф его успокоил: «Все о'кей! А ты — боялась!..»

Принимая вечером дела у Валеры, Митхат поинтересовался:

— Со ста сорок первой железяки вывез?

— Не получилось...— беспечно ответил напарник.

— А людей?..

— Людей? Про людей ты не говорил. А что, туда люди залетали?..

Митхат поморщился:

— Да говорил я тебе... Забыл ты! Там эти... Как их? Два придурка...— Листанул блокнот.— Вот, Мисюк и алкаш этот... Илюха-тракторист. Слушай, Валера, возьми с утра МИ-2 и сгоняй к ним втихаря. Если все нормально, скажи им, чтоб без шума: оба они на крючке, сам знаешь. Пообещай: отгуды — сколько хотят, потом дефицита подкинем... Давай!

Утро выдалось жаркое, влажное, душное. Появился гнус.

— Вот теперь — апраган, Славка! Шасс комар давил-давил — не смог! Сожрут и рахмат не скажут!..

— Комара-то я осилю, а вот к вертолсту подойти не смогу — унесет! Слушай, не вертолет?.. Легок на иомине! Или опять галлюцинация?.. Летит?

— Летит... комар на комариха... Нет! Славка! Тошна — летит!..

Назойливым комариком МИ-2 завис над пятачком

волле балков. Не успели амортизаторы шасси успокоиться, как пилот зыркнул турбину, а из кабины вертолета выпрыгнул жинеродецкий Налсри в короткой моллой куртмке. Увидев вышедших из балка «робинзопов» живыми и здоровыми, издали закричал.

— Здорово, мужики! Как вы тут голодали? По Семеновой или Брату?.. Теперь главное — выход из голодания! Кушайте папайю, ананасы, бананы! Пейте свежий апельсиновый сок...



ИГОРЬ СЕВЕРСКИЙ

(Игорь Викторович Кириллов)
родился на Донбассе в 1954 году.
Окончил факультет журналистики
Уральского университета, сотрудничает
в газетах, на радио и телевидении.
Автор книги стихотворений «Письмена»
и поэтических публикаций
в региональной прессе.
Живет в Ханты-Мансийск.

* * *

Птица ль с криком легла на крыло,
Дождь во мрак ли вползает тревожно,
В каждом звуке я слышу одно:
«Полюбить этот край тяжело,
Разлюбить этот край — невозможно».
Полюбить этот край тяжело —
Двое суток идем безлорощем.
Забывает глаза комарье,
Только все, что прошел, — то мое!
Разлюбить этот край — невозможно.
Пусть беда постучится в окно,
Пусть судьба ухмыльнется острожно.
Повторю заклинанье мое:
«Полюбить этот край тяжело,
Разлюбить этот край — невозможно».

Таежная баллада

Завтра будет погода — что надо!
И за нами пришлют вертолет.
А пока — над тайгой канонада,
Лушим птицу болотную влет...
По закрутке осталось на брата
Да десяток ржаных сухарей.
У костра мы молчим виновато,
Поелая убитых гусей.
Хруст костей — занимается вечер.
Сытный дух над молчашей тайгой.
Мы живем ожиданием встречи,
Догорает закат над рекой.

Завтра будут и баня, и бабы.
Бещабашье. Загул уйдешь...
Отчего же глаза у пророка
Беспредельной заветы тоской?
Нес уйдем — кто в семью, кто в работу,
В мелочовку и быт суетной.
Будут ночью нам снится Олоота,
Сытный вечер, исленский покой.
Если где-то, в бетонных чашобах,
Точку резко поставит судьба —
Белым светом тасжных сугробов
Нам мигнет голубая звезда.

* * *

Душа мятежная моя
Металась, словно зверь в неволе.
Душе хотелось в чисто поле,
Где б на сто верст метель мела.
Нереметая все пути,
Круши надежды на спасенье.
На кров, тепло, на возвращенье
В мир бесшумной суеты...
Чтобы, до-вольны стиснув пасть,
След в след за вожаком ступая,
Считаться не последним в стае.
Суметь напасть и не пропасть.
И чтоб судьбы кровавый снег
В его безумном совершенстве
Напоминал бы о блаженстве
Былых отчаянных утех...
По ты неславно подошла,
Летонько лба рукой коснулась,
И все во мне перевернулось.
Пришел покой — печаль ушла.
И стая прозрачным горизонт,
И обитаемым стал остров,
И на заброшенном погосте
Зазеленя угрюмый склнн.

Я вернусь

Я вернусь, прилечу посредине
Суровой, жестокой зимы.
Будет стыть подо льдом
Речка ливная с именем Ивдель.
Будут что-то ворчать о любви
Ксдрачи-молчуны, и ты выйдешь,
Встречать меня поутру выйдешь.
Будет стать твоя литься,
Как воск в серебре,
Простыня будет чище
Январского снега.
Будет в доме покой.
Будет хлеб на столе.
И зреть золотой расплескается нега.
Утону, пропаду
В мятных кольцах льняных.
Задохнусь от негромкого
Первого стога.
Будет день бесконечен,
А вечер печален и тих.
И от счастья всплакнет
На иконс мадонна.
Ты лампаду засветишь —
Пройдешь босиком.
По дубовым доскам
Пробегут твои ноги.
Встанет солнце,
И я не уйду с рюкзаком
По заснеженной
И бесконечной дороге.

* * *

А лето кончилось
Звняшей синевой,
Прохладным солнцем,
Утренним туманом,
Обильною поблекшею росой
И прелых листьев
Сладостным дурманом.
Брусникою, грибами, тишиной.

Спокойствием,
Открытостью охотой,
Отточенной и твердой прямотой
В делах и в мыслях,
В будничных заботах.
И, нацеляясь зрелой простотой,
Надежностью
И мудрым понимаемь,
Приходит осень
Песенной красой.
Приходит осень
Звездным опьянемь.

Карты розданы

Карты розданы — пора!
Повышать за ставкой ставку
Или выходить в отставку,
Или ехать со двора.
Карты розданы — нуш!
Случай нас выводит в люди,
Победителей не судят.
Победителю — ура!
Карты розданы — пора!
Везетки брать, и покружнее.
Не успешень — одолжит,
Не дотянень до утра.
Карты розданы — пора!
Дорожи известным холмом,
У тебя в руках колода,
У тебя в руках игра..
А игра не стоит свеч,
Оплывающая в шайдалах,
Ни инфарктов, ни склищалов.
Ни голов, слезливших с плеч.

Театр

Ваш выход, Принц.
Но занавес оборван.
Уснул сфюлер, и в ложах суета.

Подмостки ждут
В презрении покорном.
Ваш выход после
Реплики шута.
Шут надосл,
И в тягостной истоме
Застыл партер
И жаждет перемен.
Так женщина
Под нелюбимым стонет,
Вся в предвкушение
Сладостных измен.
Ваш выход. Принц.
Дай Бог вам
Быть любимым.
Талант, поверьте,
Вянет без любви.
На толщу лет
Ложатся слоем пыли
Шипящие, безрадостные дни.
Но тонкий луч,
Пронзительный, слепящий,
Вас вырвет из безвестности и тьмы.
И вот вы — Принц.
И канул город спящий,
Укутанный в тяжслые думы.
Что наша жизнь?
Лишь хрупкие подмостки,
Пыль всех надежд
И всех иллюзий прах.
Ступайте, Принц.
Я знаю — все непросто,
И вас гнетут сомнения и страх.
Но жребий брошен,
Занавес оборван.
Парит клинком
Звонящий монолог.
А за кулисами, в смиреннии покорном,
Рыдает шут. И он от слез промок.

* * *

Как ветный лист препешет на ветру,
Надежда на любовь и состраданье,
И жгучее желание понимания
Голкает нас на новый тяжкий труд.
В пургу и стужу, слякоть и жару
Мы отдаем себя, как на закланье.
Жьем малости — лишь капельки внимания.
Но этот труд судьбе не по нуру,
Она играет з скверную игру.
То вдруг уюлит
В ложке горькой влаги,
То вдруг потребует
Жесткости, отбавит,
То свергнет враз в такие перздряги.
Что будешь мерзнуть в тютую жару.

* * *

Золотые монеты
Вигиланы в грязь.
Паруса у корвета
Изодраны в клочья.
Не пристанет к тебе
Подлаборная грязь.
Остальное не важно,
Не нужно, не срочно.
На портянки изораи
Паровый камзол.
Я шелками лионскими
Вывошу площадь.
Пусть останется то,
Что м в жизни нашел
Остальное не важно.
Не нужно, не срочно.
Капитанский мой грои
Безнадежно остыл.
Моя мелкая рында
Учелка бессрочно.
Пусть останется та,
Что безумно любил
Остальное не важно.
Не нужно, не срочно.

* * *

«Щенячие охи и ахи,
Восторженной юности пыл.
По склону скользит росوماха,
И тают под солнцем следы».
Слова эти, словно заклятье,
Мой грустный попутчик твердил
И, лоб уронив на запястье,
Короткие фразы рубил:
«Не ведая горя и страха,
Нс чувствуя зла и беды,
По склону скользит росوماха,
И тают пол солнцем следы».
Он бредил далеким покоем
Обрывистой горной страны,
Где тундра напитана зносом,
Лишь медом так соты полны.
«И пусть,— говорил он,— всё прахом
И сам я в плену у судьбы,
Я видел — скользит росوماха
И тают на склоне следы»,
А я был спокоен и сдержан,
Воспитан и попросту трезв.
Я видел — разбилась надежда,
К попутчику в душу не лез.
Наш поезд качался и ахал.
В вагоне просили воды.
Мне снилось:
Скользит росوماха
И тают на склоне следы...

* * *

Надоело искать и терять,
Ждать, надеяться, помнить и верить,
Биться в стену, в закрытые двери,
Поезда бестолково встречать,
Продираться сквозь заросли лжи,
Умываться чужими слезами,
Уходить проходными дворами
И в парадных запертых жить.
Пропаду я в далеких снегах.
Там тускнеют житейские драмы.

Там подземные кардиограммы
Чертит Время на белых снегах.
Здесь над дружбой не властен год.
Здесь узача — случайная радость.
Здесь имеют земную слабость —
На болотах растить города.
Белый город встает над землей.
Белый город — суровый и нежный.
Город Веры, Любви и Надежды.
Город, ставший моею судьбой.

Шестнадцать коротеньких строк

Шестнадцать коротеньких строк:
Рождение, первое слово.
Предчувствие мира большого
И шаг за родиной порог.
Шестнадцать коротеньких строк:
Влюбленность, мечты и утрата...
Все то, чем так юность богата,
Все то, что хотел и не смог.
Шестнадцать коротеньких строк:
Случайные глубина и сила,
Через пикирную слепоту,
Конец бесконечных дорог.
А время подводит итог:
Сложилась судьба — не сложивась,
И как это все уложилось
В шестнадцать коротеньких строк?..



**ЕРЕМЕЙ ДАНИЛОВИЧ
АЙПИН**

родился в 1948 году в селе Варьеган Нижневартовского района. Окончил Ханты-Мацсийское педагогическое училище и Литературный институт имени М. Горького.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР.

Автор книг прозы «В тени старого кедра», «В ожидании первого снега», «Клятвопреступник» и других. Его произведения переводились на украинский, английский, испанский, немецкий, венгерский и другие языки.

Е. Айпин — председатель депутатской ассамблеи малочисленных народов Севера. В настоящее время живет в Нижневартовске.

Во тьме

Рассказ

Поздней весной, в конце Луны Нереста *, впервые за всю жизнь Ефрема обокрали. Из лабаза пропали две пары кисов ** — его и женыны. Подивился Ефрем: кому летом поналобились зимние кисы? Кому же, кому?! Сколько помнит себя, ничего не терялось. А ведь немало воды утскло за эти годы — по охотничьей книжке ему пятый десяток идет. Ничего не пропадало. А на лабазе даже пробоев для замка нет — кожаныи ремешком двершу привязывал, чтобы ветер не распахнул. И вот поди ж ты — обокрали!

Одно хорошо знал Ефрем: свои, местные рыбаки и охотники, не могли такой грех на душу взять. Не могли. Это ясно как то, что сейчас полдень, а потом будет вечер, позднее — ночь и утро. И на кой черт своим нужна летом зимняя обувь?! Бывало, если кому-то и приспичит, и он что-то возьмет у соседа, так свой знак оставит. Мол, был у тебя человек такого-то рода

* Луна Нереста в хантыйском календаре, основанном на движении Луны, соответствует концу мая — началу июня.

** Кисы — высокая меховая обувь.

и такую-то вещь взял. Родовой знак оставит. А потом сам отойдет и вздох вернет. Здесь же побывал постронний, не инкогнито зрелище обычаев народа.

И в доме населили три пустые банки из-под еда, коробки с замысловатыми картинками — курسو, вилмо, было. Чувал топили — летом кому это в голову взбредет?! Пишу на улице, на гананке готовит. По лежанке курицы раскиданы — разве омотник в чужом доме такое допустит?! Ночевали, зичит, и не убрели за собой. А перед уходом, видно, заглянули в лабэл и кисы прихвятили.

На другой день все произошло. Недалеко от ставня Ефрем обнаружил просеку — прямую и, казалось, бесконечную. Появляясь хвой лесни и пни с серым налетом подошлой смолы сказали ему, что со дня их гибели Луна успела один раз народиться и умереть. За это время новые владельцы искусно раукраиненных орнаментами кисов бог знает сколько отмахали. Ефрем прикинул: острым, хорошо закаленным татором он бы за одну Луну проложил такую просеку до Озера Светлой Воды, откуда они с женой только вчера вернулись. А настоящие рубники, наверное, уже до устья Атэна добрались.

Он и не думал преследовать их. Все это прикидывая по охотничьей привычке измерять всякое расстояние определенным временем.

Жена, как водится, сердито ворчала.

— Замок, замок надо купить! Сколько я тебе говорю?! Воп, у низовых, когда уже вещи стали пролагать! Тебе говори, не говори — все мимо ушей иде!.. Горе мне, горе! В чем зимой будешь ходить?! В чем зимой буду ходить я?! Тебе-то все равно...

Из Ефрема не так-то просто выткнуть слово. Все молчит. Видно, слово ценит дорого. Зато этот его словостык с ливхой возмещала жена. Когда она говорила, казалось, кроме своих слов, ничего не слышала. Ефрем всегда удивлялся, откуда у нее столько слов берется. На этот раз жена чинило два раза подряд — получилась пауза. И он низким басом сумел слово вставить:

— Пенне, может, их обувь изнасилась...

В глубине души он надеялся найти какое-то оправдание рубникам просеки. Вот, скажем, присничило, и взяли кисы, а свой родовой знак не могли оставить. Ведь они все без ролу-племени, ибо давно угадали то, что связывает род с ролем, человека с человеком. Но по тому, как завидась жена, он понял, что сказал не то.

Жена градом обрушила на него поток слов:

— Пешие, говоришь?! Пешие! А твоя-то какое дело? Обувь из-но-си-лась! Ох, скажешь тоже! В доме сколько сапог было?! Твои сапоги, мои сапоги, детей сапоги!.. Резиновые сапоги, кирзовые сапоги!..

«Женщина права»,— подумал Ефрем.

— Новые сапоги, старые сапоги, дырявые сапоги!.. Почему не взяли?!

«В самом деле — почему не взяли?..»

— Ты мне скажи: почему не взяли, а?! — спрашивала жена. И такими глазами взглянула на мужа, что тому стало не по себе: будто он обокрал собственный лабаз, уволок свои и женины кисы.

— Эй-я, пропадем,— между тем причитала жена.— Пропадем мы с тобой, ни за что пропадем. И где я тебя такого выкопала? У всех мужья как мужья, а у меня?! Голову твою укрут — не заметишь, нет. Разве есть такие люди, а?..

Но она воочию убеждалась, что есть на свете и такие.

Он был со странностями. Так, по крайней мере, считала жена. Весь он, начиная с лохматой макушки, черных доверчивых глаз, вечно обветренного лица с плавными линиями и кончая короткопальными руками и ногами,— весь излучал божью доброту, божье всепонимание. И фигура какая-то округлая, и движения мягкие, неспешные. Злые языки говорили, что он не прилепнет даже комара, насосавшегося его крови,— жалко изводить живность. А на охоте будто бы сначала прошение испросит у зверя, только после этого стреляет, если тот не покажет ему хвост.

Но, несмотря на это, Ефрем считался в колхозе не последним охотником.

— В суд надо подать,— бубнила жена.— Может, найдут воров, стоимость кисов вернут...

«Кула только ум женщины не ходит,— молча удивлялся Ефрем.— Суд ей подавай, придумала же. А кого судить-то?! И где в тайге-то этих судей возьмешь? всю жизнь без них жили — и теперь как-нибудь проживем...»

— В поселок бы съездил, к председателю совета сходил бы,— продолжала жена.— Может, помог бы чем. Какие кисы, какие лапы * были! Осенние лапы. Белые, как первый снег. Где ты теперь такие возьмешь?

Ефрем помалкивал.

* Лапы, или камус,— шкура с ног крупных животных.

«Кого вспомнила — председатели! — удивился он. — Не помню, когда видел его трезвого. Назелся на него!»
Хоть умел бы что-нибудь поставить! — ворчала жена. — А коль сам не можешь, так на помощь надо звать, в поселок надо ехать!..

Ефрем только похрапел осторожно. Сколько живет на своих угодьях, все время обходился без посторонней помощи. На охоте ли, на рыбном ли промысле, с топором на срубке дома или дровя — все делал своим умом, своими руками. Никому еще не кланялся, а тут из-за каких-то кивов... Обойдемся и без них, решил он. Не пропадаем. поды.

Лето пролетело спокойно.

Осенью, перед ледоставом, семья перекаслала в Осеннее Селение на старине, а оттуда потом перебра-лась в Зимнее Селение, что в основном бору.
Зиму, слава Богу, перезимовали. Ноги не обморозили. Дожили до весны.

А вскоре комары принесли на крылешках знойное лето.

Это лето оказалось не похожим на все другие. Волд в Агане совсем помутнелась: ползут и ползут вверх по реке самоходки и катера с баржами на буксире. Безут большие и малые машины, деревянные и железные домики, ошкурные бревна и лес, какие-то мешки и черные трубы.

Все это наблюдал Ефрем, когда вечерами усаживаясь на широкий пень перед домом и курил трубку. Бывало, катер гуляет и прижмется на берег возле лодки Ефрема. Выходят катерники, разминают ноги, пришекивают языком, оглядывают селение.

Голосистые все, как птенцы, вылетевшие из гнезда.

Разговор держит хозяйка. Катерники ее Секлетинский Ивановной кличут. На русском языке у нее столько же слов, сколько и на родном. А может быть, даже больше. Потому как многие ее слова не доходят до Ефрема, хотя он понимает почти все, когда говорит спокойно. Но у женщин, известное дело, язык без костей — сразу за двоих или троих работает.

Между тем хозяйка угощает гостей чем Бог послал. Насчет этого у Ефрема строго: пришел гость — кто бы ни был — угощай, не роняй достоинство дома. Такое гостеприимство злут Распределяющий Завер, покровитель дичьных зверей птиц, и Ас-ники*, покровитель

* Ас-ники — в буквальном переводе «Объ-стерляк».

рыбьего царства. Эти боги потом с лихвой возместят то, что было поставлено гостям. Может быть, поэтому удача всегда сопутствует Ефрему на промысле. Ведь он ничего не жалеет для гостей.

Ефрем вглядывался в гостей, прислушивался к интонациям их голосов. Его цепкая память навсегда укладывала в голове внешность людей. После, если будет нужно, он вспомнит, где видел человека.

Лица-то вроде бы доброжелательные, отмечал он про себя. И глаза будто бы чистые. Только у одного катерника не разберешь, спрятался за железными глазамочками. Не сразу поймешь, что за человек...

Когда гости собирались в путь, хозяйка, как это было принято испокон веков, приносила им копченую рыбу или мясо, ягоды или орехи. Смотря что есть под рукой.

Ефрем провожал гостей до причала. Если это не сделаешь — удачу дома увезут. Поэтому обязательно нужно проводить, чтобы удачу вернуть. Молча смотрел он на бурлящие под винтом воды Агана. Раньше такого оживления на реке не было. Только по веснам, в половодье, шлепали вверх рыбокооповские катера с баржами на буксирах — завозили в поселок продукты и другие товары на год. Те караваны никогда здесь не останавливались. Видно, спешили. Ходил в те времена и маленький черный катерок — почту возил. Двое там плавали. Ефрем с ними дружбу завел, иногда ездил на их суденышке за покупками. Теперь, по слухам, заменил их почтовый вертолет.

Все меняется. Как-то незаметно идут дни и годы, месяцы и десятилетия...

— Слышал, в верховье новый город начинают строить,— сказала жена после отъезда гостей.

«Зачем этот город?!» — молча удивился Ефрем.

— Перво... перво... проходимцы, что ли — так они себя называют,— там станут жить,— пояснила жена.— В общем, кто первым ходит по нашим тропам...

Это немного озадачило Ефрема. Дело в том, как он считал, что первые очень давно, еще в задревнюю древность, протоптали тропы на землях Севера. Кто они? Ханты ли, ненцы ли, возможно, селькупы и чукчи... А эти, вновь пришедшие, выходят, тоже хотят быть первыми. Будто не было первых. Впрочем, что с того. Пусть зовут себя, как им нравится.

— Какой-то горючий жир земли ищут,— рассказывала жена.— Что-то вроде керосина.

Она помолчала. Потом вдруг се осеснило.

— Может, этот горючий жир в лампу можно заливать? — Ефрем, как водится, слушал молча. — Внесло керосина — вот хорошо бы!

«Если и дальше так пойдет, хорошего будет мало». — подумал Ефрем.

— Только одна беда — спокойю теперь не будет!

Жена помолчала, потом сделала невозможный выдох:

— Спокою не будет — замок покупай, замок!

Но Ефрем и не подумал о замке. Он по-своему рассуждал. Человек всегда лезет туда, куда его не пускают, размышлял он. Увидит замок — заинтересуетса, что там такое от него прячут. И захочется ему залезть туда из любопытства, будь он даже и не вор. А нет замка — значит, ничего там необыкновенного нет. Все это, значит, от замков, от недоверия к человеку. Жили всю жизнь без замков — и теперь проживем, решил он.

Так в нем и не появилось уважения к замку.

Наступила пора силей морошки.

На болото за птодами надо съездить, настанвала жена. Поха морошка в мех не капнула. И дети, две девочки и мальчик, присхавшие из школы-интерната на летние каникулы, ходили за отцом. Просидись в дороге, просидись на морошку. Ефрем и сам не прочь был поспать. Лавно не видел свои болотные земли, поэтому мякнул в сторону лодки — мол, собирайтесь!

Вернулись через неделю. И обнаружилса новая пропаша: исчезли две кадроновые сети, висевшие на деравянном крюке в доче. Как водится, жена завелась с лоду:

Что я тебе говорила, убедилса?! Что скажешь?! Может, скажешь, у них карманы из-но-си-лись?! — вспомнила она слова мужа про кием. — Ленгы изнасились, купить не на что!

Молчал Ефрем. Что тут возразишь...

— А сети кадроновые, колхозные, советские! Спишишь, колхозные, советские. Раньше за какое дело под суд отдавали. За потерю, за вредительство. Раз сам никто не хочешь судить, так тебя самого возмут, самого засудят в темном доме!...

Жена таяко вдохнула.

— И-бе-то, может, все равно, а я куда с детьми денусь?!

* Темный дом — тюрьма.

Как-то нехорошо стало на душе у Ефрема. Сети все-таки не кисы, из оленьих жил их не сплетьешь. Да тут еще жена со своим судом... И он тяжело разомкнул челюсти:

— Иминэй *!.. — отпечатал Ефрем и замолк — не знал, что дальше сказать.

Жена запнулась на полуслове — так весомо и внушительно прозвучал голос мужа. Чертовски трудно разозлить его, но если уж выведешь из себя — добра не жди. Это ей было ведомо, и теперь она поняла по интонации, что раздувать огонь незачем — лед тронулся, муж что-то предпримет. Она помолчала, а потом, значительно поубавив тон, для приличия поворчала еще немного себе под нос.

Посадить-то в темный дом, конечно, не посадят, думал Ефрем. Не те времена. А вот стоимость сетей за просто вычтут, заплатит придется. Что поделаешь — украли так украли, теперь не вернешь. Ну, зверь есть, рыба ловится — как-нибудь проживем...

На этом он вроде бы успокоился. Но полный покой все равно не наступал. Будто Ефрем сам виноват в том, что у него украли сначала кисы, а потом сети. Хотя в чем его вина?.. Не в том ли, что не может остановить воровство? Но как его остановить, каким образом?! К судье не пойдешь, прокурора не отыщешь, сторожа не поставишь, а делать что-то надо. Сам себя от воров должен оградить, сам...

И в конце августа, когда отвозил детей в школу-интернат, привез из поселка два амбарных замка. Выбрал самые большие, какие только нашлись на складе.

Жена облегченно вздохнула — наконец-то муж обрзумился. Но, однако, замки спокойно пылились на полке навеса-коптильни до следующей осени. Ефрем, будто позабыв об их назначении, явно не спешил водрузить замки на свои двери. Но и жена знала свое дело — нудила потихоньку, донимала его. А когда поспела брусника и настало время выездов на ягодники, наотрез отказалась оставлять селение «без присмотра замка». Тут уж Ефрем не стал перечить, наконец-то уступил: без жены план по бруснике никак не одолеешь.

Но совсем недолго продержались замки.

Однажды, в конце сентября, вернувшись с ягодников, женщина поспешила в дом готовить ужин, а Ефрем

* И м и — жена, и м и н э й — обращение к жене.

принялся выносить на берег брезентовые кузова с брусничкой. Вдруг остановил его крик жены. Из неразборчивого потока проклятий на двух языках он разобрал только три слова:

— Взломали, укртали, убили... — и так далее.

Ефрем осмотрел лабаз.

Неотомкнутый замок висел на одном пробое. Второй вырвали ломом — на брезенте остались вмятинки. Весь пол покрыт истрепью и перьями. Воры не убрали десенку, но которой проникли в лабаз. По ней ползлись туда мыши и попортили меховую одежку — хоть выбра-сывай.

Воры отторопи выдровскй капюшон мазицы — видно, на шапку. Исчезли одна оленья и две гусиные шкурки. Это, конечно, не мышьявая работа.

А самая большая потеря — украли малокалиберную винтовку. Единственную, бесценную.

Ефрем сначала не доверил — весь лабаз перешернул, все перебранул, но винтовку не нашел.

Охотник без ружья — не охотник.

У ружья, как и у человека, своя судьба. Историю этой винтовки Ефрем помнит до мельчайших подробностей. Едва только увидел «малопульку» — так их еще называли, — сразу опытным глазом тазжника оценил ее. Далеко бист, легка при ходьбе, не нужно заряжать патроны, почти не парит шкуру зверя. В общем, никакого сравнения с дробовиком. В не столь давние годы дужья свободно продавались охотникам в поселковом магазине. Но потом, особенно на покупку нарезного оружия, стали требовать кучу разных справок и разрешение милиции. А где она, эта милиция? В районном центре, городе на Оби. В ту пору самолеты не летали. Зимой ездили туда на оленях, а летом — на полупных катерах. После долгих колебаний Ефрем все же пустился в дальнюю дорогу. В городе он многие дни потратил за начальствующими чинами ходил, нужные им бумаги делал. Но «малопульку» все же добыл.

А как добывал — тайной осталось.

Никому он не рассказывал про свою поездку. И в районный центр больше не ездил. С тех пор встречу с милиционером считал плохой приметой.

Сейчас он утром смотрел на замок, не оправданный великие надежды его жены. Бормотал то ли вслух, то ли про себя:

— Прочту... Сами прочту...

Но проучить пока было некого.

Теперь плохо дело, думал он. «Малопулька» на учете — потребуют, что скажешь?

Если раньше из него трудно было вытянуть слово, то теперь Ефрем и вовсе замолчал. Даже с рыбаками-соседями, заезжавшими к ним, разговаривал неохотно, односложно отвечал на вопросы. По вечерам уже не садился с трубкой во рту на пень перед домом и не наблюдал за караванами судов и моторными лодками, что сновали вверх-вниз по Главной Рске, Агану. Что ни год — их все больше и больше. Что ни год — все дольше и дольше мутят они воды, с начала ледохода до самого ледостава. Что ни осень — тут и там вмерзают в лед буксиры, не добравшиеся до порта назначения.

Суда по-прежнему причаливали к их дому. Но теперь, если прижимистая хозяйка не одаривала катерников при отъезде положенными им, по древнему обычаю, гостинцами, Ефрем ничем не выражал своего недовольства. Многое у него в голове перепуталось-переплелось: возможно, сегодня это гости, а завтра — воры. Как это объяснить?! Как это понять?! Разве этакое можно уразуметь?!

— Эти называют себя первопокорителями земли,— сказала жена после очередных гостей.— А те, что утром были, больше говорили о первооткрывателях... Очень уж по нраву им слово «перво»... И кому ведомо, что они там напokoряли, наоткрывли, напроходили?..

— Первограбители, первоизломщики...— как водится, не то подумал, не то вслух сказал Ефрем.— Вот кто они!..

Взлом лабаза совсем сбил его с толку, будто по темечку ударили. Вель никогда подобного не случилось. Может быть, он раньше чего-то не понимал? Жил не так, как надо было жить?! А теперь времена изменились, по-иному все надобно делать. То мнилось ему, что взломали специально, чтобы посмеяться над ним, над его доверчивостью и добротой. То вспоминались слова жены, которая, видимо, более чувствительна к переменам в таежной жизни: «Добреньким теперь не проживешь — быстро закроют, времена не те!»

Вот и выходит, что она права. Надо бы бежать с большой реки, перебраться на какую-нибудь глухую курью или старицу. Но как покинешь родовое селение, куда врос всеми своими корнями! Вростал многими поколениями, вростал столетиями. Кто знает, как вырвать

эти корни?! Вот и жена после взлома заговорила об этом же.

Но и без ее поучений оскорбленная душа Ефрема требовала отмщения.

И вот, когда собрались в поселок славять бруснику, он решил прочувствовать вломщиков. Замаскировал и настрожил старый обрез-самострел. Выстрелит, как только заденут палку пасторожку, привязанную к замку на двери лабазы. Заряд сам навесила отобьет окоцу к чужому добру. Ефрем все рассчитал до мелочей — здесь должно только руки. Хорошо бы, конечно, у вломщика мягкое место как следует посолить — чтобы не мог ни сесть, ни лечь, чтобы нагололо залюминил. Но пожалел Ефрем проходимца: вдарит ненароком повредит жизненно важный суставчик — маленькое ружье.

Несколько дней были в пути.

Съездили, свали бруснику.

Сходили в магазин, закупили продукты и другие нужные вещи.

Вернулись домой под вечер. В умерках лодка бесшумно ткнулась в белый песок прилива. Осенние дожди подзадержались, и вода все убывала — поэтому берег стал высоким. А склон до самого верха зарос долгой осокой, за которой не видно строений селения. Чтобы не спускаться лишний раз, Ефрем сложил покупки в пустой боченок для брусники и полез за жной по узкой тропке: двинулся к дому, в гору.

Неожиданно из рук шедшей впереди жены посыпались вещи. Ее худая спина словно дернулась от удара, подкосились ноги, и она свалилась. Всю ее беззвучно закоржило. Ефрем инационально сунул бочку в траву и бросился к жене. Но когда выскочил наверх — остался белец.

Дома — нет!

Вместо дома — пепелище...

Глаза метнулись к лабазу.

Лабазы — нет!

Вместо лабазы — пепелище...

Глаза рванулись к навесу.

Вместо навеса — пепелище...

Тут — пепелище...

Там — пепелище...

Всюду — пепелища...

Только хлебная печь, вылепленная из глины, как бы стылась, что избежала участи соседней-товарищей, сироче-

ливо горбилась, пытаясь вжаться в землю, на своем обычном месте.

Бочка, наспех сунутая в траву, словно от ужаса сорвалась со склона и, рассыпая покупки, понеслась вниз. Река пенным фонтанчиком приняла ее, распахнула бумажные кульки и коробки, лизнула пряники и горький сахар.

Сколько времени Ефрем остоленело вращал глазами — не помнит. Потом ноги понесли его от одного пепелища к другому. Слово надеясь разыскать что-то очень нужное, разрывал он руками остатки головешек, обуглившиеся бревна, ошупывал обгорелые столбы. Персмазался в саже, забил поздри псилом, чихал, бормотал что-то — видно, ругался. Не найдя ничего, остановился перед пепелищем дома и неожиданно расхохотался: кого хотел проучить, глупый человек?! Самого проучили!.. Вот так!..

Жена очнулась от сго смеха. Ефрем предстал пред ней чертом — грязный, лохматый, черный от сажи и угля, светятся лишь белки глаз и зубы. Она все еще не могла вымолвить ни слова, лишилась дара речи, вся дрожала в ознобе. Наконец, оправившись от испуга, разлепила губы и прошептала:

— Спя-тил...

Но Ефрем вдруг выхватил попавшее под ноги ведро, будто нашел то, что искал так упорно, сунул в него нос и, повернувшись к жене, выкрикнул разумные слова:

— Вот тебе горячий жир земли!..

Он отшвырнул ведро в сторону реки и, повернувшись спиной к пспслищам, тяжело опустился на подгнивший пен. Кое-как набил табаком трубку, раскурил ее и, лишь задохнувшись горьким дымом, вроде бы затих.

Было пусто.

Было пусто в головс.

Было пусто в душе.

Тоскливая пустота больно сдравила сердце. Ефрем затих, впал в забытьс. Вывел сго из этого состояния далекий голос жены:

— Вставай, ночь уже на наши головы легла...

И он, как бывало, не то подумал, не то сказал вслух:

— Вот и конец нашему Дому...

Наступила ночь. Он не знал, куда ткнуться в этой тьме.

А тьма все сгущалась. А тьма поглощала пепелища, берег, лес и наконец поглотила все вокруг, будто никогда не стояло здесь древнее селение, куда никогда не жили тут люди охотничьего рода Ефрема...

Моя княжна

Осенняя грусть

Ты будешь вечно неземная
В душе тоскуешь моей!

В Чукотку

Ты собиралась втайне замуж в конце осени. И это была твоя последняя поездка со мной. Мы жили в горах, в доме моего друга, в Северной Норвегии. Точнее, в Лапландии.

По утру я рано просыпался. И подолгу лежал в постели, прислушиваясь к тишине. А тишина была изумительной... Потом поднимался и шел к окну, смотревшему на полдень. За окном, в низинке под горой, протекала небольшая речка. На ее дне и берегах светились круглые камни голыши, а через нее вытянулся неширокий мост, в котлах прикртый белой известковой пылью. По нему, спустившись по петляющей на склоне дороге, мы выбирались «в мир».

Дорога, уходя вдаль, связывала оба берега с белобокими валунами, обросшими оленьим мхом. Но основательно объединила все водно-ветренно предрасветная дымка, висевшая в небе ранней осени. Она приподняла и камни на склонах, и вершины гор с елилкой, и белый ягель, и воду горной речки, и наш дом. И я, мне кажется, был нестерпимо связан со всем этим вечным на земле.

И конечно, с Тобой...

Я смотрел на осень и наполнялся неумолимой силой пронзительно-чистого горного воздуха...

Обычно мы встречались за утренним чаем.

Завтракали за огромным столом в углу холла на втором этаже. Мы распознали друг против друга. Я сидел и смотрел, как твои пальцы своими приспособлениями согревали чашки и вилки, тарелки, чайную ложку и чайную пару. Смотрел и слушал твой мягкий, как свет осеннего утра, голос.

Я молча впитывал в себя ореховую печаль твоих широко распахнутых очей. В их томной глубине всегда гнездилась затасанная печаль, о которой, возможно, Ты и сама не подозревала. Печаль оставалась там, даже когда Ты улыбалась.

По утрам мы больше молчали.

И я молчал.

Я думал о Тебе.

О том, что Ты выходишь замуж...

В то утро мы слушали радио. И Ты переводила мне последние новости. А в мире было тревожно. Особенно на нашей Родине. И выпуски новостей мы ловили каждое утро.

После, вздохнув, Ты тихо сказала:

— Войны не миновать...

Я принялся Тебя убеждать, что мы, человеческое общество, с каждым годом становимся мудрее и поэтому уже пережили эпоху войн, эпоху самоуничтожения. А любая гражданская война — это самоубийство народа. И цивилизованному обществу она не грозит... Ты взглянула на меня, как на младенца. Возможно, в тот миг я и в самом деле выглядел сущим младенцем.

В твоих глазах и движениях было много таинственного и непонятного. Порою мне казалось, что я знаю Тебя лучше, чем Ты сама. И мне хотелось рассказать Тебе, кто Ты есть. Но потом приходило ощущение, что я ничего не знаю о Тебе.

После завтрака мы обычно уезжали в горы.

В пору ранней осени в горах было удивительно прекрасно. У природы, как у гениального художника, нет ничего лишнего. В зелени ельников и сосняков вплетались золотистый огонь карликовых березок и нежная светлость оленьего ягеля на склонах гор. Светило солнце. Было не жарко и не холодно.

Воздух словно родниковая вода — не надышаться им, не напиться.

Голубишной отливала чистая даль.

Только горные реки отсвечивали суровым свинцом.

Осень медленно, но верно вступала на эту землю.

Мне вспомнилось, что дома, на сибирском Севере, на Оби, в это время года уже довольно прохладно, а вернее — холодно. Здесь же сказывалось дыхание Гольфстрима.

В горах хозяин дома показывал нам свои владения. И пастбища, и корали, и сборные пункты, и, конечно,

оленья стада. Меня интересовало все. И наш хозяин охотно отвечал на мои вопросы. Ведь здесь чужие и хозяйство было не так, как у нас в России. Оленеведы на пастбище приезжали по асфальту на легковых машинах. Переговаривались между собой по радиотелефонам. В случае надобности могли позвонить домой. Да что домой, в любую точку планеты, где есть телефон... Не быстрая ли лайка, а легкий вертолет загонял стада в кораль. Наши оленеводы жакос и не смелось.

Хозяин обстоятельно отвечал на мои вопросы. А Ты превозила мне.

Ты была моим языком.

Ты была моим бесконечным вопросом.

Без Тебя я не мог сделать ни шагу. Без Тебя я уже не мог представить себе свою жизнь. Но тем не менее я иногда думал себя на том, что подгуливал над Тобой. Однажды, когда Тебя за что-то нужно было похвалить, я с легкой усмешкой спросил:

— А за что?

И Ты, улыбая мой тон, ответила с улыбкой:

— Да красивые глаза.

— А разве у Тебя красивые глаза?

— Разве не так?

— Вот не обращай внимания! — слушайка и.

На самом деле мне нравилось ловить свет твоих очей. Ибо твои глаза излучали, подобно белой ноли, животный свет. Ровный и мягкий. Свет, исцеляющий тело и душу. Свет, согревающий меня. Я чувствовал, как тепло плавно охватывало меня...

Ты, конечно, все понимала. И на мой лукавый ответ ничего не сказала. Только опустила и медленно подняла ресницы. Слово птица, которая расправила крылья, но потом расдумала и сложила их, не стала улетать... Бывало, встрепенувшись ресницами, Ты уходила далеко-далеко от меня. Бывало же, пригасил свет очей, наострил ресницы колочим зрачком, словно неприступным щитом отгородивалась от всего мира. Но бывали твои очи и другими, близкими и понятными мне... Я украдкой ловил трепет твоих ресниц. Они чутко отзвались на каждый шорох в горах, на шедест каждой травинки у рощника, на каждое прикосновение к Тебе...

Горы предвещали нам много неожиданного. Но, кажется, больше всего они изменили Тебя. А возможно, и меня. Мы как бы заново нарождались.

Ты была моими глазами.

Я стал твоими глазами смотреть на эти горы. Я теперь все видел твоими глазами. Ты входила в меня. Ты начинала жить во мне.

Так проходил день.

Так утескала эта осень.

Так мы с Тобой входили в жизнь этой страны...

По вечерам, после ужина, мы обычно засажали в ближайший городок на кружку пива или бокал легкого вина. В баре всегда было свободно, чисто и уютно. Но, главное, здесь всегда встречали нас как добрых старых друзей. Всегда радовались нашему приходу.

...Ты собиралась выйти замуж на исходе осени...

К нам подсаживались друзья и приятели нашего хозяина. В тот вечер к нашей компании тоже присоединилось несколько человек. Директор Саамского института говорил о роли науки в жизни арктических народов. С американцем-эскимосом обсуждали проблемы выпаса оленей на Аляске. А молодой ученый рассказывал о своем увлечении топонимикой. Он выявил сотни древних саамских названий населенных пунктов, гор, рек и озер по всей Лапландии. Ведь норвежские, шведские и финские названия появились здесь намного позже.

И нашему другу-хозяину было что сказать. Кроме всего прочего он автор солидной книги о традициях и обычаях своего народа. Я познакомился с ним и сразу подружился три года назад на Международной конференции коренных народов. Переводчики за день так изматывались, что к вечеру у них не оставалось сил для неформального общения. И однажды, просилев всю короткую белую ночь в кафе за кружкой пива, мы прекрасно обошлись без переводчиков. Мы искали древние финно-угорские корни, общие для остяков и саамов. А их оказалось немало и в языке, и в культуре, и в промыслах. Мы уверовали в то, что в наших языках достаточно общих слов, чтобы объясниться друг с другом в простейшей ситуации. В общем, тогда мы почувствовали себя близкими родственниками.

Сейчас, конечно же, больше всех доставалось Тебе как единственному переводчику. Мы все общались, отдыхали, а Ты работала. И я, жалючи Тебя, старался говорить коротко, экономно.

Выпивали здесь понемножечку. За весь вечер посетитель обычно обходился одной-двумя кружками пива. Или одним-другим бокалом вина или рюмкой коньяка.

Иногда, крепкие напитки разрешались строго до определенного часа. То ли до десяти, то ли до одиннадцати. Да и приезжали сюда не выпивать, а пообщаться, обменявшись новостями, поглядеть друг на друга. Ведь у каждого в доме, включая и нашего друга-козлина, есть бар с набором самых разнообразных вин и напитков.

В тот вечер нить разговора с нашим другом не прерывалась, и когда мы выходили на кафе. Когда селись в машину и ехали домой. Когда заходили в дом и поднимались на второй этаж. Но на пару минут эта нить прервалась. А потом беседа возобновилась в холле второго этажа за столиком с чаем и кофе. Мы удобно расположились в больших черных креслах и на таком же диване. И зели неторопливую беседу о жизни.

... Ты собирался ...

Мы сидели втроем. Ты, как бывало всегда, перерывала наши слова. Мне было покойно. Я слушал Тебя. Может быть, в это мгновение я позвбыл о том, что Ты... Потом, в паузу, Ты опустила голову на высокую спинку кресла, повернула лицо к правому плечу и уставо озирались ресницы. На черном фоне кожного кресла излучали инчий свет твоё белое-белое, как снег, лицо и длинная прядь русых волос. Я, увидев это, не то лопузил, не то сказал почти беззвучно: «Моя Княжна!» Мне вспомнилось, как я в первый раз произнес эти два слова. Ты удивленно распахнула свои ресницы, внимательно оглядела меня и после долгой паузы спросила:

«Кто про княжну скачал?»

«Никто».

«Тогда откуда?»

«Догадаться...»

«А-а-а», — почти беззвучно сказала Ты.

А догадаться было нетрудно. Я давно обратил внимание на твою фамилию. В дореволюционной России она была довольно широко известна. Твой предки внесли значительный вклад в духовное возрождение своего Отечества. Вернее, в сокращенную духовную энергию России и русского народа. Без этой духовной энергии до девяноста семнадцатого года не просуществовал бы не только Россия, но и русский народ со всеми инородцами Российской Империи. И в жизни имени твоего большую роль сыграло твоё зодолствие, твои предки. Семнадцатый год почти уничтожил твой род. Кто сложил голову на полях гражданской войны, кто сгинул в концлагерях Севера, кто успел уйти в эмиграцию...

И Ты вместо родового поместья близ первопрестольной появилась на свет в Заполярье, на берсгу студеного и коллюче-неуютного оксана. И твои родители вынуждены были заниматься скорее разрушением духовных начал, а не созиданием, как это делали ваши деды и прадеды. Все перевернулось: кто мог работать головой, тому дали кирку и лопату...

Магия имени — одно, но мое внимание привлекало и другое. То, с какой грацией Ты держалась на при-емах. Как Ты вела беседу. Как входила в зал. Как танцевала. Как садилась за стол и притрагивалась к приборам. Словом, влекло все то, что никаким образованием не получить. Это должно быть в крови. Возможно, в прошлом веке твои прабабушки с такой же грацией выходили на бал...

Однажды я высказал мысль о возможном возрождении древних родов, в том числе и твоего. Ты, блеснув мягким светом очей, только улыбнулась моей наивности. Ведь время крепко подрубил корни твоего рода. По слухам, в Штатах, в Нью-Йорке, остался лишь один престарелый князь-меценат, который иногда устраивает выставки живописи.

...Ты собиралась выйти замуж...

За столом мы продолжили вечер вдвоем с хозяином и теперь общались без Тебя. Я сидел и спиной улавливал тепло твоего живота и твоих грудей. И в себя вбирал твое тепло. А собеседника слушал вполуха и отвечал ему невпопад. Я думал о Тебе. В Тебе была магическая сила духа. Завораживающая магическая сила в движениях и в мыслях. Ты являла собою образ возрождающейся России с твоими славными предками в прошлом и туманным будущим. Ты являлась центром Вселенной, и все вращалось вокруг Тебя. Такой Ты мне представлялась в ту минуту. Так я думал о Тебе.

А время мимолетно.

А время быстротечно.

Так кончалась осень.

Так незаметно подбиралась зима.

Утром я проснулся рано-рано. Еще до рассвета. Проснулся от шороха. Мне показалось, что Ты, как осиновый листочек, шелкнулась под одеялом в своей спальне на втором этаже. Я лежал неподвижно, прислушиваясь к предрассветной тишине. И почудилось мне, что слышу твое ровное легкое дыхание. И теперь твое дыхание и покой полностью зависели только от меня.

Ведь во всем доме мы с Тобой жили вдвоем. Во всей
Вечной мы с Тобой вдвоем. Я закрыл глаза и увидел
Тебя. На Тебя было приятно смотреть. Ты радовала
глаз... Так я лежал, смотрел на Тебя и слушал утро.

Ты была моим словом.

Ты была моим слухом.

Ты была моими глазами.

И наконец Ты стала моей душой. А отрывая от
себя душу было невыносимо больно и тоскливо... И я
старался не думать о близкой разлуке. О неминуемой
разлуке.

Но время разлуки пришло

Время разлуки...

...Ты собиралась выйти замуж на исходе осени...

Мы расстались

Пришла машина.

Ты села в машину.

Ты, окая меня свистом белых ночей, светлой печаль
ных очей, села в машину. Но мне все разом останови
лось и замерло...

Машина тронулась и увезла Тебя. Увезла на Север.
Нет Тебя...

Ты простилась со мной только движением печаль
ных ресниц.

Теперь я постоянно думаю о Тебе. Думаю о несо
знанной печали твоих глаз и ресниц. Думаю о твоём
свете, о твоём тепле... Думаю о твоём роде. И кажется,
понял, отчего ты так печальна. В Тебе жила несо
сознан
ная печаль по уничтоженному в синалнатом голу ролу,
по распотанному трону, по уничтоженной и оквер
женной России. И в этой печали пока никто Тебе не
сможет помочь. Ни Государства, которые не желат
признать свою вину перед Тобой и твоим родом за рос
сийский зазор, ни тем более охотне до чужого добра
оплести и дунигубы, погрешше на этом руки.

Без Тебя опустились горы.

И я уехал в Южную Норвегию. Там осень длиннее.
Но ничто не радовало меня. Ни жизнь в охотничьем
домике на берегу живописнейшего озера в горах. Ни
увлекательная охота на лосей в горных расщелинах. Ни заман
чивая ловля рыбы во фьордах. Ни теплые солнечные
дни. Я вспоминал Тебя. Вспоминал твой голос. В по
минал и слышал каждое твоё слово.

Однажды утром Ты проснулась от странного звука:
цок-цок-нюк. Открыла глаза и увидела, что к Тебе

пришел белый пес по кличке Байт. Ты тогда еще не знала его имени. Но тем не менее Ты стала подзывать его. А он оказался очень застенчивым: потупил умные глаза, наклонил голову и тихонько, как бы извиняясь, удалился. Потом он, словно для знакомства, подходил и ко мне. Глянул, помахал хвостом и отошел. Он был таким же деликатным, как и хозяева. Вечером они тихо и незаметно исчезали, и мы оставались вдвоем в огромном, по нашим меркам, доме. Ты жила на втором этаже, а я на первом. И у каждого на этаже, начиная с сауны, было все, что нужно для нормальной жизни. Словом, это дворец, а не дом. В первые дни я часто плутал по разным лесенкам и площадкам в поисках своей спальни.

По вечерам было хорошо.

То было последнее...

Ты собиралась...

Все напоминало о Тебе. Я грустно улыбнулся, обнаружив в сумке два бутерброда. Ты приготовила их для меня к поездке в горы еще там, на Севере. Но я о них позабыл, и они уцелели. К ним прикасались твои руки, и они сохранили твоё тепло и твою грусть. Я увидел твоё чистое и белое, как снег, лицо. Увидел твой строгий изящный профиль. Увидел твои трепетные ресницы. Увидел свет твоих очей. Теперь я только смотрел на Тебя и молчал. Молчал часами, днями, неделями. Под предлогом того, что нет переводчика, молчать было удобно. Никто не мешал мне смотреть на Тебя. Ведь Ты все еще была рядом со мной.

Осень.

Увядали листья.

Увядали травы.

Увядала земля.

Накрапывал холодный дождь.

И здесь, на юге, осень из младенца превращалась в старушку со следами былой прелести.

Так заканчивалась твоя последняя поездка со мной. И чем ближе подступал конец осени, тем тоскливее становилось мне. Кончались мои змные дни. Ведь я умирал вместе с осенью...

Возможно, и Ты вместе с осенью таяла на моем печальном Севере...



**ЮРИЙ КЫЛЕВИЧ ВЭЛЛА
(АЙВАСЕДА)**

родился на стобиче vicino севе Варьени
в 1948 году. Владает многими
профессиями — плотника, охотника,
рыбака, оленевода и другими.
Окончил Литературный институт
им. М. Горького. Автор сборников «Вести
из стобича» (первая и вторая книги),
«Белые крики». Стихи переводились
на энтальский, вансийский, марийский,
эумурский, везерский, немецкий
и английский языки.
Живет на стобиче.

Купание на рассвете

Утром ранним,
Когда туман висел на прибрежных кустах тальника,
Я посмотрел,
Как ты осторожно похлила в студеную воду реки.
Как взлетали, захлебываясь,
Твой плечи и руки,
И тяжёлая ревность рождалась во мне
К реке. Почему это она,
А не я
Робко касалась пальцами ямочки на твоём животе?
Почему это она,
А не я
Осторожно прикрываю дрожащей ладонью
Нахально торчащие острые буторки
На груди?
Почему это она,
А не я
Припадаю пересохшими губами
К плавнике между твоими ключицами?
Почему это она,
А не я,
Не я с жутким страхом вбираю тебя
В свои объятия?..

Перед охотой

Ружье свое старое
Огыщу в кладовке,
Где мыши по ночам шебаршат.
Присвистну удивленно
И, зацокав языком,
Разбирать начну.
Цевье рассохшееся, разболтавшееся —
На лавку;
Замки накладные с курками,
К ложу прижавевшие, —
Сковырнуть;
Два бойка с пружинами.
Коррозией изъеденными, —
Свинтить;
По порядку
Остальные детали
Аккуратно в баночку с маслом
Сложить.
Представив мысленно новое уголье,
Засомневаюсь:
Может, купить и ружье новое?..
Дочь принесет плоскогубцы, напильник —
Она уже знает, что принести.
Жена отыщет шомпол за шкафом —
К этому делу за долгие годы привыкла.
Тряпочку,
Ватку,
Перо приготовят.
А я сижу, к работе не приступая.
Я очень ясно вспоминаю
Свой прошлогодний последний промах:
Заснеженный берег Ватьсгана.
Ельник.
Осинник.
Пихтовый стланик.
И тальник на мысу.
А над кустами хрусткими
Лось —
Крупный, красивый и чуткий.
Сердце мое громко стучит —
Как бы зверь не услышал?
Снег под лыжами шуршит —

Как бы он меня не выдал?
Там,
Где черная спина
Переходит в светлое брюхо,
Под лопастью доса
Уязвимое сердце бьется...
Выстрел короток.
Эхо долгие
Дни удавленно ахает.
Над одинокой пустынной зимой
Только пихтовая ветвь
Отклоняется.

Жизнь, дающая силы и мне

Эмилию Абрамич

Когда твой отси,
Споенный купцом,
Свадилась с пленней упряжки.
Возвращаясь в стойбище,
И замерл посреди зимы,
Ты внимательней стал всматриваться
В своих сородичей
Позрелешшими глазами.
И они заговорили с тобой,
Как с равным...
А потом,
Когда умерла твоя мать,
Ты стал старшим в семье
И в роду.
Ты уже научился владеть собой.
И, уходя с кладбища родового,
Еще пытался о чем-то шутить —
Как обычно влетит.
А вечером
В оуме,
У очага,
Твоя Арина
Теплыми руками
Перебирала нежно

Твои огрубевшие волосы
И прятала
Помертвевшие — блысы —
Под еще живые — черные,
Потому что
Ты
Был нужен людям
Молодым и сильным.
А как в тебе это поддерживать —
Только она знала.
Много детей вы вырастили,
Воспитали.
Многих людей вы научили:
И работе,
И веселью,
И охоте,
И рыбалке,
И человечности.
И меня в том числе.
Научили меня любить свою Аринэ.
Научили радоваться удаче,
Помогали пережить горе.
Чем же я теперь тебе помогу?
Смогу ли подставить свое плечо?
Сегодня взгляд твой —
Пуст.
Сегодня голова твоя —
Бела.
Сегодня род твой обходится
Без тебя.
Семьи твоих сынов —
Каждая
Как многолюдный род.
Сегодня мы схоронили
Твою Аринэ.
Но, идя с кладбища,
Ты уже не нашел сил
На традиционную шутку,
А моя —
Повисла в воздухе
Неуместно-неуклюжей сосулькой.
Но все засмеялись так дружно,
Поспешно-недепо
И неискренне,
Что в углу твоих глаз

Все-таки шевельнулась жизнь —
Жизнь.
Доющая силы и мне.

На троллейбусной остановке

Москва. Ранним утром на конечной остановке «Стадион
«ДИНАМИ» троллейбусного маршрута № 79...

Стою возле булки
На остановке,
Читаю обрывки бумажных фраз:
«Меняется...»,
«Срочно меняем...»,
«Разъезж...»,
«...трехкомнатную,
С балконом на юг
К концу пятидесятки
В двух шагах отсюда будет пушена
Новая станция метро...»,
«...пяткомнатную,
С лоджией,
На две квартиры
Любых:
Одну — в Москве или в Подмосковье,
Другую — в любом конце страны»
И подумалось вдруг:
Нужели концы-то
На равнине степных дорог
И мои сородичи
Станут звывать:
«Семья развалилась,
Меняется чум...»,
«Мой муж алкоголик,
Меняю семью...»,
«Поссорились с зятем,
Меняю сям род...»?

Пожелание счастья

*(Предисловие к поцелую
по-ненецки)*

В нос
Целуют у нас детей —
Ты уж не ребенок.
В лоб
Целуют у нас усопших.
Я и думать о том не хочу,
Что когда-то
Ты можешь уйти в мир иной.
В щеки
Целуются в нашем роду
По необходимости.
Я так не хочу.
Потому что
После поцелуя такого
Нужно отвернуться
И, сморщившись,
Сплюнуть под копыта
Застоявшейся оленьей упряжки.
В губы
Целуют любимую женщину
Тайком,
От постороннего взгляда укрывшись,
Так как взгляд посторонний
Обворовывает
Такой поцелуй,
И, словно обнищавший,
Он теряет свою ценность.
Так
За жизнь свою
Всего только раз
Я тайком подсмотрел,
Как мой дед целовал вдохновенно
Мою бабушку,
Поцелуй этот
Мне глаза подпалил
И обжег неокрепшее сердце.
Давно это было,
И наверно, тогда
Я и стал поэтом?

Но какие б стихи ни писал,
Сам еще не готов
К поцелую такому
Святому.
Потому-то боюсь —
Может быть, у меня
Он получится живым?
Не позволю
Поцелую тебя
В уголок меж щекою и носом.
Такой поцелуй у нас ценится,
Потому что считается
Саччим искренним.
Только
С одной стороны нельзя целовать.
Потому что один поцелуй —
Это словно один человек,
Сирота,
Оставшийся от когда-то многолюдного
рода.

И вторым поцелую
Не могу ограничиться. —
Ну что хорошего жить вдвоем.
Без детей?
Жизнь такая
Слишком длинной покажется
И скучной.
«Ничего нет досаднее
Длинной и скучной жизни» —
Так мне дед говорил.
При —
Число из чужого фольклора,
Не имеющего к моим сородичам
И ко мне
Никакого отношения.
Четных чисел у нас не любят.
Потому что они не приносят удачи
Ни на охоте,
Ни на рыбалке,
Поэтому принимай от меня
Поцелуй пятый
Но самое доброе число —
Число,
Убивающее зло
И приносящее удачу,

Число,
От которого сбываются
Все мечты и желанья,—
Это с с. м. б. Так прошу,
Коль уж позволила себя целовать,
Не отстраняй
Мой
С е д ь м о й
Поцелуй.
Может быть, он тебе принесет
То единственно верное счастье,
Которого так желаю.

Бсчетка-шаманишка и другие

1

Когда появился на нашей реке катер, мы, дети, первыми облспили склон пссчаного яра, тогда как взрослые, отцы наши и деды, все еще степенно двигались между домами и чумами, словно весенний поток, неся с собой и заполняя все уголки нашего стойбища вестью: «По реке огнедышащая лодка плывет!»

Только спрятавшийся в изголовье постели под одежды и шкуры Бсчетка не покидал своего берестяного чума, с ужасом нащептывая: «Это за мной, это по мою душу пришла огнедышащая лодка, это вчерашний звук моего бубна привел ее сюда».

Вскорс все жители стойбища, кроме Бсчетки-шаманишки, были на берегу.

Едкий дым, черный и тяжелый, выползал из трубы катера и, грозно нависнув над стойбищем, потянулся своей мохнатой лапой прямо к чуму Бсчетки.

«Смотрите, смотрите! — зашевелились старики, охваченные и злордством, и тревогой.— Сейчас этот Огнсный Дух вынет из чума пустослова!»

Каждый стоявший на берсгу представлял, что дым этот — Божья кара за ложь, которой шедро одарял сородичей шаман, и без сожаления отдавал Бсчетку на волю судьбы.

Мне казалось, что шаман, скрытый от нас стеною чума, сейчас яростно борется с Огненным Духом, но так как до сих пор он еще не был вынут из своего

убежища, то я в своем мальчишеском воображении видел в нем искусного барца. Так же, как и все жители падего стойбища, и некогдабывав Висчетку, к словам и к поведению которого относились с недоверием, но тем не менее где-то в самом затаенном уголке сознания жалел его.

Катор причалил к берегу, качнувшись на собственной волне; выскочивший из нора чуждый человек с ярко-белой уздечкой ровных зубов нахнул на пень толстый канат, подбиченясь, бойко махнул кому-то рукой, и таинственный зверь, только что изрыгавший изнутри искры, дым и рычание, смолк, словно присяженный. Из трубы вырвалось последнее, уже не такое черное ковыло дымя, проносилось над стойбищем и скрылось в берестяном чуме Висчетки. Я представил, что неудачливый Огненный Дух, не выдержав борьбы с человеком, погиб в суровой схватке. На душе была гордость за победу сородича, но еще больше было жаль таинственного зверя.

2

Олняжлы ехали в огном облаке по реке два старика — ненцы и ханты. Едут и друг другу сказки рассказывают. У ненца было хантыйское имя Явнко — это значит, что он был известен не только среди своих сородичей, но пользовался уважением и среди ханты. Старик ханты по этой же причине носил ненецкое имя Капитаяя. Были они не только друзьями, были они Большими Сказителями. Каждый из них мог заговорить не только просто слушателя, но и такого же, как он, мастера сказителя.

В одном месте река делала большой дуглавый поворот-петлю. Проедешь кругом — полдня потеряешь. У основания изворота есть волюк — всего в двадцать шагов — перетащил через него лодку и дальше едешь.

Так пот, едут Явнко и Капитаяя и сказки друг другу рассказывают. Доехли до волюка, перетащили облас и гребут льяныс. Но поехали они не вниз по реке, куда им надо было, а завернули вверх по течению, то есть в этот дуглавый речной поворот. Едут себе — сказки рассказывают. В полдень снова досехали до волюка, снова перетащили лодку и снова поехали в ту же петлю реки. До того они увлеклись сказками, что в этом большом повороте почевали и первую ночь, почевали и вторую

ночь. Вечерами у костра тоже забавляли друг друга сказками. И так за три дня они переташились через один и тот же волок семь раз. Такова сила настоящего искусства, сила мастерства истинных сказителей — они забыли обо всем на свете...

Кстати, живут в народе до сегодняшнего дня две сказки этих стариков. Расскажешь с вечера одну из них — и утром на весь день буран поднимется, слякоть может наступить. Сказка второго вызывает ясную, солнечную погоду. Лично я за свою жизнь несколько раз пользовался ими, для того чтобы вызвать на охоте нужную погоду. Но это так, между прочим, и к рассказу моему не имеет никакого отношения...

Сейчас волок на той двуглавой речной петле люди называют Волоком Семиглавого Поворота...

3

Прибыл тогдашней зимой в наше стойбище Уполномоченный из Сургута. И в то же самое время прискал на свою беду Капитяй — пушнину сдать, в магазине муки, махорки купить. Указал один (нашелся такой) на старика пальцем, шепнул стражу народному, что Капитяй — шаман. Опустил Уполномоченный руку на плечо старого охотника и сказал:

— Собирайся, шаман, поедешь со мной в энкавэлэ.

Не понял старик, улыбнулся широко, закивал головой:

— Пэча! Пэча!... — что значит по-хантыйски «Здравствуй!».

Подскочил тот, что пальцем указал, и перевел слова Уполномоченного. Опустил мрачно седую голову старик, но спорить тогда не принято было. Отпросился только за окраину съездить, оленей выпрячь, проводить домой к детям.

За стойбищем в сосновом бору выпряг Капитяй оленей из упряжки, прогнал их по дороге в родное стойбище, сам сел на теперь уже неснужную нарту, достал из-под соломенной подстилки старую берданку (не у всякого бедняка могли найтись в семье лишняя оленья шкура на подстилку и добрый дробовик), сказал молитву, вздохнул и застрелился.

Много новых первоснежей приходило на мою землю, много раз перелетные стаи пронеслись с грустными прощальными криками над Семиглавым Поворотом

и над сосновым бором, который теперь называется Капитан-Бор...

Сяду я на крыльце нашего музея. Слева от меня песчаный яр, на котором когда-то стоял чум Исчетки, справа — Капитан-Бор, куда ушли мои дочери собирать ягоду.

И что я сегодня вспоминаю о прошлом?..

У телевизора

Разость и бая живут всегда рядом

Сегодня радость в стойбище
Большая —
Мой дядя в чуме телевизор
Поселил.
Трещал огонь в печи.
Барахтались перед экраном дети,
А дед сидел в тени
И подбородок тербил.
На голубом экране
Фильм сменился фильмом.
Прекости, плачи, песни,
И улыбки
Большого мира
В этот малый мир лились,
А дед молчал.
Сидел в тени,
Нахмурив брови,
И подбородок тербил.
Нарил.
Нарил над водопадом парашот,
Как облако,
Как птица,
Как одуванчик,
Менялись выраженья лиц
У тетки,
У детей,
У змеи,
У осерсей,
Пришедших поглядеть обнору,
У бабушки.
Но дед не удивлялся.

Он был хмур сегодня.
За спинами сидел в тени
И, сдвинув брови,
Подбородок тербил...
А вечером
Мне по секрету бабушка сказала,
Что вчера
У дороги на буровую
Дед откопал
Две туши обезглавленных оленей,
Полмесяца назад пропавших
В соседнем стойбище.

Белые крики

Твой дед на лебедей охотился.
Он слыл добычливым охотником
И добрым человеком.
И в лютые морозы
Люди его рода
Наевали
Теплую лебяжью одежду.
У них не было своих оленей,
А дети просили есть.
И поэтому
В летнее время
Они запасались лебяжьим мясом,
Заменяющим оленьи,
Закляывая его под мох
В вечную мерзлоту.
Может, потому они и выжили?..
Твой дядя на лебедей тоже охотился.
Некоторые
Круглозачые жены
Присзжих геологов длиннорублевых
Поиди его самогонкой.
И скупали
Невыделанные,
Кровяные,
Наспех ободранные,
Вылинявшие
Лебяжьи шкурки,
Чтоб потом шить из них

Себя и почерял
Мелкие шапочки.
А назавтра
Твой дядя
С головной болью.
С жажлой в душе и в желудке
Слова отпрелялся на дьяльние оскра
И яростно расстреливал
Белые крики...
Многих молниц он одел
В пушистые лебняйки шапки.
Но почему-то
Никто
Никогда
Не называл его
Удачливым охотником...
А потом
Врач-эксперт
Вынес заключение:
«Отравление алкоголем»
А может, не только это?
Когда мы хоронили его,
Над стойбищем
Прозвучали белые,
Мне показалось, торжествующие
Лебедные крики...

Мутация

— В соседнем стойбище отяслави неводом странную
щуку, у нее над глазами, говорят, торчали два маленьких
твердых отростка и на носу четыре отверстия вместо двух.

— Детей-хит! Это приметя к большому несчастью.

Из разговора с seabom

Зверь с двумя глазами,
Такое отклонение от нормы —
Мутация.
А человек с двумя лицами?
Такое отклонение от нормы —
Не мутация?..
Вчера поймали щуку
С двумя отростками-рогами,

Сегодня поймаш язя
С глазами на одном боку,
Как у камбалы.
А завтра —
Окуня речного с двумя головами.
Одной головой он сквозь жабры
Будет цедить
Речную воду,
А второй —
Нефтепродукты,
Сравненные с аварийного нефтепровода...
Может, бывает мутация
Не только от радиации?
Нефть, разлитая в реке или в море, —
Не причина мутации?
Дымовой шлейф с месторождений —
Не причина мутации?
Ведь жутко представить:
Дед мой
Одной рукой бросает тынзян на олшня,
Второй —
Натягивает всеудушающий тынзян,
Упираясь ногами в землю,
А третьей —
Выворачивает оленю рога
И всеми тремя языками
Вылизывает
Струющийся из черепа мозг.
При этом
Один глаз шуруется от наслаждения,
Второй
Приглашает меня совершить то же самое,
А третий
Жадно ищет в испуганном стаде
Новую жертву...
Люди!
Может, такая мутация
В нас уже началась?
Или пока, слава богу, нет еще
Двухголовых и трехруких?
Но, может,
Для нас незаметно
В нашей жизни уже наступила
Мутация наших поступков,
Мутация отношений,

Мутания наших чувств?..
Ах, если бы еще не поздно
Олянуться на себя!

На уроке

Идет в школе урок родного языка. Учитель дает детям такие слова: киври (колодец), суван (навес для нарт), пухуа (стойбище). Маленький Семен переводит их с хантыйского на русский и добавляет от себя:

— У нас есть киври, у нас есть суван для нарт, наш пухуа красив летом.

Бедный мальчик! Он говорит «есть», а я знаю, что нет. Уже два года, как его родного стойбища нет, оно погало под Покачевское нефтяное месторождение. На месте его пухуа, сувана и киври в игельнич бору, где Семен бегал босиком наперегонки с длинноногим оленинком, возмущается стальной вилочкой — Буровая Вышка. А Семен с матерью сегодня живет в поселке, в стареньком колхозном домике.

Как прикажете его называть?

А он действительно, изверное, счастливый меня? Вель он не переживает, не болеет за опустошенный лес, за перспрытый бульдозером бор, за заваленную дорогой речку. У него душа чиста, сму вес до лампочки. Он с легкостью будет выполнять любую работу, какую сму укажет его начальник, лишь бы только вовремя получить свой длинный рубль и ежемесячно откладывать энную сумму на «жигуль».

Он еще два три года поработает и уедет. А мне после него всю жизнь жить здесь на перертой, перетоптанной земле, с переломанными деревьями и с замазанными осярами и реками. Мне уже негде будет добывать пушнину и мясо, негде вылавливать рыбу на строганину, негде пастись оленей. А он в это время будет гнать на солидной скорости легковой автомобиль по Янгинскому шоссе, рядом с ним будет сидеть его счастливая жена и уже в который раз слушать, раскрыв рот от восхищения, его рассказ о том, как на зиничке

Новооганск — Бахилы он догонял и давил колесами
своего «Урала» песцов.

Как-то он задавил на дороге соболя, и после этого
товарищи-шоферы прозвали его Шоболятником.

Когда он заезжает ко мне в стойбище и когда наш
разговор заходит слишком далеко, он называет меня в
лицо лесным диким человеком. А как мне прикажете
его называть?..

Возвращение

Небо прощальной гусиною песней
Втекает в меня.
Дождь за плечами проносится
Рваную тучей.
Голые пальцы осины,
Как пальцы старухи,
Дрожат.
Травы согнулись, сломались,
Задавлены серыми ливнями.
Невод упал с вешалов,
И весла побигы.
Съежилась лодка.
Сырою водою полна.
Сосны шуршат,
Не шуршат, а скрипят,
Не скрипят —
Как гагары кричат.
Собаки на лают,
Олени притихли,
Сороки молчат.
Печка сгарается,
Фыркает,
Чум прогревая,
Небу, клубами дым исторгая,
Грозит теплотой...
Выходит жена моя —
Чистая, яркая,
У печки прогретая,
Ласково смотрит навстречу,
Руками,
Как ношу святую,
Живот обхватив.



**НИНА НИКОЛАЕВНА
ЗИНЧЕНКО.**

Хорошая сибирячка, родилась в деревне Песелга Жиганской области. Окончила педагогический институт, преподавала в школе, многие годы занимается журналистикой.
Автор книг сказок «Горошина», «Двадцать ширвый баг», сборника рассказов «Умираю, воскресай!»
Живет в Нижнеуральске.

Кисели-морозы

Рассказ

Ирина скосила глаза на мужа. Он спал на спине, открыв рот.

Брезгливо отодвинулась. И во сне ловит мух. И назыву они кокушки у него на руках — не приволзлет. Когда в деревне жили, таким дождем не был. А может, и был? Не замечала. Сама — переловая доярка — и на ферме лучше других управлялась, и дома, как белка в колесе, крутилась. И он, Веняка, — не последний механизатор — с трактора не слезая все весны и осени, и дом успевал строить, и бабло срубил... А тут, в городе, как будто попнул в нем былой завод. Сломалась внутри стальная пружинка: не выкрутить ее ни добрыми словами, ни угрозами.

Обменяли усадьбу на городскую блягоустройку в хрущевке: комната, кухня, туалет с ванной, прихожая — лачужки плавают. На доплату купили мебель. А радости нет. Такое ощущение, будто в кукольном домике живут. Все маленькое, как у японцев. Не то что в деревне: раз дождь хоть во дворе, хоть в доме...

Что было в деревне, Ирина вспомнить не хочет. Больно при первой мысли о ней — сердце в тиски и наждаком по нему — сил нет.

Но кухня включила чайник. Рюмечка выдалась, как молочный зуб. Посмотрела на нее умело, подумала: «И я так шпателью, а оторваться не могу. Привычка — словно многожильные провода».

В ванной встала перед зеркалом. Высокая, стройная, живот плоский — тлелепными флягами пресе накачала, побросай-ка их на машину... Грудь нагло вперед

торчит. Можно без бюстгальтера ходить. Не рожала, не кормила — сохранила в девичьей свежести.

А когда рожать было? Когда дом строили? Или когда менялись? Ехали ведь в город детьми обзаводиться. Но тут работа на первый план выскочила. На одной зарплате и вдвоем не проживешь, а уж с ребенком и подавно. Пришлось идти учиться, потом утверждаться. А сколько нервов и времени ушло на перекройку себя на городской лад: и ходить, и говорить, и волосы в мелкие завитушки закручивать... И любовника завела. Да не просто Ваньку, а начальничка, хоть и средней руки, но при портфеле. Все увереннее по жизни идет. А она былую уверенность растеряла при переезде в город... И тянулась к тем, у кого этой уверенности было в избытке. По такому признаку и выбрала свободную любовь.

— Иришка-малышка, нам не пора?

Ирина вздрогнула. Двумя горстями воды смыла с лица горечь размышлений, накинула кокетливый халатик.

— Пора, Котик, вставай! — пропела деланно-певуче.

Разливала чай по белым, в большой красных горох чашкам, когда муж сел к столу.

— Лечись, Венечка, отдыхай, ничего не думай, — нятянуто улыбнулась, стараясь выглядеть приветливо и искренне.

— Ты же знаешь, я не болен, — с привычной унылой обреченностью начал было муж, но Ирина предупредительно подняла руку с ножом. Намазывала масло на хлеб.

— Ни живости, ни былого огня.

Муж виновато уронил голову.

...На перроне было многолюдно — пора летних отпусков.

Все хотели получить свое счастье где-то там, далеко, куда увезет поезд.

— Может быть, и ты со мной?

— С тульским самоваром в санаторий не съездят, — улыбнулась игриво.

— В деревню съезди, не скучай.

Глаза мужа выражали страдание и заботу. В нем было много неизрасходованных-невостребованных чувств. Они утнетали его. В городе не знал, как с ними расстаться. Такие, как Венечка, здесь не ценились. Ценились передовики, врачи и алкоголики. Первые гнали план, план и план. Вторые брали этот план горлом и выходили

и руководители. Третьи, спившиеся таланты, выполняли черную и ответственную работу за мизерную зарплату и служили на побегушках.

Венька не вписывался ни в одну из этих категорий. План гнать не мог — увлекался качеством. На голосовые связки не нажимал и не пил. Не мог пить — от двух капель спиртного покрывался красными пятнами. Он медленно таял, увязал и стекленел плачами. И Ирина купила ему путевку в санаторий. И вот: Венька едет, а она остается подумать: как жить дальше? С кем? С Венькой и Аркадием Николаевичем? Или только с Аркадием Николаевичем?

Тепловоз резко свистнул. Пассажиры и провожающие стали лучше слышаться. Венька плеснула жему, подхватил чемодан и легко встрыгнув на подножку вагона.

Когда поезд тронулся, он сидел у окна, как рыбка в аквариуме, и сквозь грязное стекло грустно смотрел на жену. «Наверное, знает, что у меня есть любовник», — подумала Ирина и, махнув рукой, пошла рядом с вагоном, в котором сидел муж, потом с другим, третьим и еще подог всел ушелшему поезду. Она остановилась, когда поезд скрылся за поворотом.

Села на краснуюную тушю синей краской скамейку и долго смотрела на плывущие облака. На душе было пусто, и не хватало сил подняться.

Мимо прошло с десяток поездов, когда она встала и медленно перешла приокзальную площадку. За билетом в кассу стояла маленькая очередь. «Ъезжу к матери. Успокоюсь в деревне и потом уж все расставлю по местам» — обрадованно подумала Ирина и встала в хвост очереди.

Вскоре она, как несколько часов назад, Венька, сидела у окна, как рыбка в аквариуме, и смотрела на пробегающие мимо поля, передоски, деревенчки, пасущиеся стада коров и овец. И плывавшая ее душа опьянела и неподвижалась красотой и простором. Ирина не заметила, как задремала.

Наконец она подошла к родному дому, погладила его бревна-бока и, встав выгюгну к забору, прижавшись всем телом к доскам. Шумно втянула в себя воздух. Доски пахли дождем, солнцем и цветами.

Весь этот запах, хорошо знакомый с детства, вдвигая в нес огромной рекой и нес мог наполнить. Долго стояла так, замерев. Слезы подступили к горлу и брыз-

нули из глаз. Ирина обмякла, медленно сползла вниз и села на траву. Она сидела и сладко плакала.

За забором залаяла собака, виновато и просительно. Узнала Ирину и не могла понять, почему та плачет?

— Песик ты мой славный, песик ты мой золотой,— говорила Ирина, вытягивая на тропинку ноги и смахивая со щек льющисся слезы.

Скрипнула калитка. За ворота вышла мать и сощурилась. Она узнала дочь и увидела, что та плачет.

— Что? Что случилось? — голос матери заметался в испуге.

Мать подходила к Ирине на ватных ногах, готовая разделить с ней поровну, а лучше целиком взять горе на себя.

— Радуюсь я, мама, радуюсь! Домой приехала,— сказала Ирина, поднимая навстречу матери раскрашенное черной тушью и слезами лицо.

— А ты не врешь? — спросила мать недоверчиво и встала как вкопанная, не готовая к такому повороту событий. И вдруг почувствовала всем своим слабеющим телом, какую непомерную тяжесть несла те несколько шагов, что отделяли ее от дочери. Мать опустила плечи, сбрасывая невидимую тяжесть вниз, в сырую землю, и села на траву, как и дочь, вытянула ноги на тропинку.

За забором, радостно повизгивая, лаяла собака. Она металась, гремела цespью, стараясь вырваться из своего плена и броситься с поцелуями к женщинам. Она любила их. И любовь эта была в ней фонтаном.

— Осньки мои, да чевой-то вы тут сидите, как сиротинушки, чево плачите?

Над соседним забором, таким же высоким, как и тот, под которым сидели дочь с матерью, выросла белая голова соседки — тетки Апки.

— Да вот, сидим, думаем: с какой песни концерт начать,— сказала Ирина поспешно, опережая мать с подробными объяснениями их встречи.— Ты, тетушка Аня, не подкажешь?

Женщина сдвинула на лоб шалашик платка, чтобы лучше взглянуть в лица дочери и матери, солнечные лучи слепили глаза.

— Средь бела дня и песни?

В васильковых распахнутых глазах Ирины вспыхнули и померкли два огонька, голова откинулась назад.

— А мне, городской, чево день, чево ночь — однова живу, не разбирая суток.

Шмыгнула носом, поправила на коленях подол юбки.

— Так, так, — обрадованно закивала тетка Анька, подолная правду/ложь/как ответа.

И вдруг тучка закрыла солнце. Тетка Анька увидела разлив: черной туши на щеках Ирины. Вгляделась в нее взглядом, как ланча в кожу. Глаза сузились.

— А лицо-то чо вымазано?

Ирину охватила веселая дрожь. На душе стало легко и уютно.

Так легко и просторно, словно не облака, а она сама пад собой плыла в вышине.

— Баню топил, сажу месила, стны мазала — зот и вымазалась, — говорила спокойно и серьезно, как будто отчитывалась перед профсоюзными собраниям.

Тетка Анька еще сильнее сузила глаза — не поверила. Ее, как воробья на мякине, не проведешь.

— На каком автобусе приехала? — подлила тетка Анька масла в свои слова. Они, как колотбки, скатились с ее губ.

Тетка Анька стала испытывать к Ирине, как та переехала в город, раздражающее и оттого унижающее ее чувство недовольства. Может быть, та стала слишком высоко нос задирать? Хотя и не ходила по улице, подныз стю к небу, но уже, как прежде, не вслух и в разговор легко и непринужденно. Все приходящее из нее ватскивать, как гвозди клещами из доски. И что бы ей, злой Ирке, не быть своей, приехать и все рассказать про то, как живет с мужем, о чем думает, что купили, какие случаи в городе произошли. Не глумак, чай, деревни. Сколько всего там пошекручено. А оше, зараза, молчит... А тут еще и крутится начала, как собака за репьем, что уцепился за хвост.

Ирине уже было открыл рот, чтобы ответить, на каком автобусе прикатила, как вдруг навзвилась на нее усталость — ни руками, ни ногами, ни тем более языком не хотелось двигаться — так на нее иканные словы-колотбки усыпляюще надеивовали.

Она посидела с открытым ртом, пока тяжелая волна усталости не слынула, потом легонько подтолкнула мать локтем, ион, поддержи, и злела:

— По Дону гуляет, по Дону гулет, по Дону гуляе! — казак молодой.

От неожиданной выволки и демонстративного неуверения тетка Анька переступила с ноги на ногу, а она стояла на чурбачке, прислоненном к забору. Чурбачок

зашатался и стал крениться в сторону. Тетка Анька сползла кулем вниз.

И как только белый палашик платка скрылся за забором, Ирина по-кошачьи легко и быстро вскочила, подхватила мать, поставила ее на ноги и, обняв за плечи, повела в дом.

Уже вечером, когда была вытоплена баня и они сели чаевничать, Ирина спросила, глядя на мать:

— Хочу от Веньки уйти. Как смотришь?

— А чем тебе не приглянулся Венька? — удивилась мать.

Она Веньку любила. Часто говаривала: «Таких, как Венька, сегодня искать — не сыскать. Все с фендибобрами да с призмочками, а у этого своя стать, свое лицо — ладный мужик, всем вышел. Грузль, а не мужик».

Грузль в ее определении был величайшим признанием человеческих достоинств и их проявления в повседневной, рутинной жизни. И ниже его в оценке Веньки мать никогда не опускалась. Не видела причин, не находила их. А возможно, и Венька не давал ей повода, потому как был «грузлем».

Мать смотрела на Ирину сочувственно, но так, как будто та что-то сделала против ее воли и теперь жалеет об этом.

— Хотела с тобой посоветоваться, чтобы потом, когда уйду от Веньки, ты меня не упрекала, — спокойно, выдержав длинную паузу и не повышая голоса, сказала Ирина. Ей хотелось обстоятельного разговора с матерью.

— А я тебя спрошу, объясни, чем тебе не глянется Венька? — спросила мать, подражая спокойствию дочери.

Объяснить вот так сразу все, что накипело на душе, Ирина не могла. Душа была пустая и звонкая.

— Трескучий, как мотоцикл. Лупит словами и лупит...

— А ты не все слушай, — не дав дочери закончить фразу, сказала сурово мать. — Не слушай, и все, — подвела черту в неразгоревшемся споре, а может быть, пресекая его.

— Как это не слушай? Как это? — заволновалась Ирина, расплескивая чай, который мешала ложечкой, и не замечая этого. — Он же на свои глупости жлет ответов, в конце концов, требует их.

— Ну и отвечай,— все так же спокойно и примиряюще сказала мать. — На то ты и женщина, чтобы отечать и вразумлять. Ему тоже трудно бывает. Ему тоже, как тебе, защита нужна, поддержка.
— И что, я должна всю жизнь мучиться? Обязана мучиться?

Ирина, перегибалась в поясе, наклонилась над столом и почти легла на него грудью. Она покрестилась свои словами движениями тела, словно хотела достучаться до сознания матери, выпросить у нее сочувствия.

— Мешком-то не вались,— одарив ее мать сурово, притормаживая размыгивающийся ураган в душе дочери,— Не разводи мне тут кисели-морозы.— Она подняла кресло указательный палец, как параграф закона о браке, и, глядя спокойно и сосредоточенно в глаза дочери, сказала. — Запомни, женщины при чужде должны жить. Все остальные завитушки — были и сплыли, следа не оставили.

— А если мочи нет? — угрожающе привстала Ирина, она не хотела славаться.

— Мочи до мочи, а ночи вдвоем.— отрезала мать и сурово посмотрела на дочь.— Ты хвостом-то не крути, ты взкрой помирли. Кто хорошо живет? Видела? Я жизнь прожила, не видела. Все друг к другу приспособливаются. А ты Бога моли — радуйся, что не скаженный оглашенный попался. Вот с тем бы ты мозгалла сонлей со всех полюстей. И сама бы была клята, и бока мять. А Венька доброслов. И эта беда легка. Беда в другом.

Мать задумалась и посмотрела в окно. За ним сгустилась темнота. Стояла и трезвожно молчала.

— Так в чем беда? — спросила Ирина. Она встала из-за стола и высталила бедро, готовая к отпору.

Мать посмотрела на дочь долгим, испытующим взглядом и слегка, а может, Ирине показалось, усмехнулась.

— В твоей беде, что на друица смотришь, а на себе не оглядываешься. А ты повернись, олянись. Ребенка роди. Не тани. Потом покажешь, да поздно будет.

Ирина опустила руки по плечам, как провинившаяся школьница, пристыженная и оробевшая.

«Может быть, мама правду говоришь,— подумала, садясь за стол.— И над ее словами стоит поразмышлять? Может быть, я боюсь думать? Потому у меня все и выходит шиворот-навыворот».

Говорить не хотелось. Каждая думала о своем. Не сговариваясь и не убирая чайную посуду со стола, разошлись по комнатам. Потушили свет. Заскрипели кроватями.

Утром Ирина проснулась еще до петухов. Прокралась в кухню, боясь наступить на скрипучую половицу и разбудить мать. Та спала чутко. В кухне так же на пыпочках Ирина подошла к буфету, открыла дверцу. На верхней полочке, на вязаной кружевной салфеточке, лежали конверты, авторучка и тетради. Вырвала листок и села писать письмо.

«Милая мама, спасибо! Мне стало легче. Сердце успокоилось. Я поехала в город, посмотреть, как живут другие. Венька возвращается из санатория в конце июня. Сразу присдем к тебе, накосим козс Маньке сена.

Целую и люблю, Ирина».

Ирина сидела в автобусе. Автобус резко катил по дороге, покрытой асфальтом. И может быть, поэтому ей казалось, что она летит, летит над пропастью и не может ни перелететь, ни вниз, в черную дымную пасть, нырнуть...

В щели между дверью и косяком ее квартиры торчал сложенный четвертушкой листок бумаги. Ирина аккуратно развернула его. Глаза забегали по строчкам:

«Диди, дорогая! Буду в четыре.

Твой и только твой

Дидюньчик».

Аркадий Николаевич назвал Ирину Дидей после первой их близости. Тогда он задохнулся от крепкой ее стати, от ее моши, как можно залохнуться от свежего бодрящего ветра и моря цветов весной в степи, вынырнув из душного подземелья на бескрайний простор.

Он впервые видел, ощущал, любил и нежил, сам себя не узнавая, женщину, которая выросла на парном молоке, только что сорванных ягодах, пахнувших колдовской силой и мощью земли,— природа наделила ее всем тем, чем была богата сама. Природа готовила женщину рожать, кормить детей и терпеливо ждала, когда Ирина приступит к исполнению главной своей женской обязанности. А женщина все медлила и медлила и все дальше и дальше уходила от своих первоисточков, не зная и не ведая, к чему придет, что ее ждет за очередным жизненным поворотом...

И вот встретил Аркадий Николаевича. И возгорт его и восхищение вибрировали ее и как бы отодвигали наступающую на пятки старость. Все чаще видела она на своем лице признаки увядания, и все больше они ее беспокоили.

А тогда Аркадий Николаевич с детской блуждающей улыбкой на губах рассматривал ее упругие, не сложенные непосильным крестьянским трудом и бегом времени груди и упрямо морщил лоб, силясь вспомнить что-то давно забытое, но сладко тревожащее его душу какой-то давней светлой радостью. Поднял сияющие глаза и дикующим, перенасыщенным счастьем голосом пропел:

— Диди! Это Диди!

Потыкал толикам указательным пальцем с отполированными ногтями в ее упругую молодую грудь.

И Ирина поняла, что он вспомнил свои младенческие годы, ту радость, которую дарила ему материнская грудь, то счастье, которое испытывал, наслаждаясь сытостью и спокойствием. И теперь испытывал подобие того чувства и радости к нему, ощутив его тепло, спокойствие и умиротворенность внутри себя, как ощущает мать тепло плода, который носит под сердцем.

— Диди, Диди, Диди. — беспрестанно повторял Аркадий Николаевич и заливаясь, как ребенок, смеялся.

И этот его беззаботный, искренний смех вначале радовал Ирину, а потом начал злить. Может быть, потому что она давно не переживала того забытого и теперь так неожиданно воскресенного счастья, счастья безмятежного далекого детства, которое осталось где-то в глубинах сознания и никогда до этой поры и ничем не напоминало о себе. А может быть, это в ее сердце гремучей змеи, колючей и тяжелой, зашевелилось то, что она должна была испытать, но не испытала. — счастье материнства? И теперь эта пустота, которую раньше не ощущала в себе, в если и ощущала, то заполняла ее, как ей казалось, тем, что было насущным, и вот теперь эта пустота овладела ее душой, прилежной и интеллигентной, одиноко стоящей перед неведомой дальней дорогой и собирающей подаяния.

Все эти мысли вихрем пронесли в голове и ослепив свинцовой, тревожащей сердце пылью. И Ирина, как ни силмлась, не могла продохнуть эту пыль и захлебывалась.

— Что ты, Диденька? Что? — всколыхнулся Аркадий Николаевич. — Озябла?

Ирина промолчала. Закрыла глаза. Аркадий Николаевич укрыв ее одеялом.

И даже тогда, когда он ушел, не могла легко и свободно вздохнуть, что-то тяжелое, горькое и острое сидело в сердце и мешало дышать. Потом острота этого ощущения прошла, но тяжесть или страх от пережитого остались.

И теперь, когда Ирина прочла записку, странная тяжесть зашевелилась в сердце, и оно отяжелело, заняло, потянуло вниз.

Ирина открыла дверь и, не раздеваясь, подошла к зеркалу. Указательными пальцами растянула губы в противоположные стороны — получилась закрытая улыбка клоуна. Ирина подержала эту вымученную улыбку, успокаивая и тем самым ослабляя сердечную тяжесть, глубоко вздохнула и посмотрела на часы. Времени для подготовки к встрече оставалось в обрез. Заметалась по квартире, расставляя стулья, смахивая пыль, убирая разбросанные вещи.

— Трели-вали — это нам не задавали, — запел звонок в прихожей.

Подбежала к зеркалу, поправила волосы, одернула платье из веселого ситчика и степенным, уверенным шагом пошла к двери.

Повернула ключ и остолбенела. Аркадий Николаевич в розовой кружевной ночной сорочке, надетой поверх синего костюма, стоял в позе грузина, танцующего лезгинку. В одной руке держал бутылку коньяка, в другой — букет алых роз. Увидев расширенные от удивления глаза Ирины и насладившись ее молчаливым изумлением, принялся на лестничной площадке отплясывать лезгинку так, как будто порялочно выпил и ворвался в круг, в который его не пускали.

— Асса-а-а! — подпсвал густым баритоном и вытягивался в струнку, приподнимаясь на носочках. Кожа на черных его туфлях схибно морщилась.

Ирина почувствовала взгляд. Он шел откуда-то сверху. Подняла глаза и увидела соседку с шестого этажа. Та с любопытством все знающей сплетницы смотрела на отплясывающего Аркадия Николаевича. Она связывала увиденное в один узелок, приписывая всему происходящему свой таинственный смысл и подтекст. Не далекий, впрочем, от истины.

— Проходите. Он не опасный, — сказала Ирина быстро и властно. И слова ее прозвучали как приказ, который необходимо, не раздумывая, выполнять.

Соседка с быстрой мышью, за которой гонится кошка, прощипнула мимо Аркадия Николаевича, и ее резвые кеплочки обижено застучали по ступенькам.

— Дили, дорогая, я так рад тебя видеть, — дурашливо улыбаясь и пританцовывая, мило, у него внутри все бурлило от счастья, сказал Аркадий Николаевич.

Отступила, пропуская его в комнату.

Все так же приплюсывая, влетел в прихожую и упал на колени. подал букет роз, поставил на журнальный столик бутылку.

— Я так летел, так спешил! — говорил он, и глаза его блестя, передавая всю бурю чувств.

Дили, моя Диди! — ликовав Аркадий Николаевич, прижимая Ирину к себе.

Ирина покосилась на бутылку коньяка, на букет роз, и горячая пьянящая волна пробежала по ее телу, качнув вправо, готово влево.

— Дивоньник, развевайся, дорогой, — подставившись под игривое настроение любовника, сказала Ирина.

— На пороге? — удивленно округлил он глаза.

— Препологаю, что не в сорочке? — помахом руки подняла пену кружев.

— Ах, да! — обрадованно воскликнул Аркадий Николаевич. — Это мой тебе подарок.

— Если мой, то почему носишь ты?

— Аде оп, — по-клоуниски развел широко руками Аркадий Николаевич и наклонился, подбирая подол сорочки, чтобы ее снять.

Ирина увидела его змеешью макушку.

— Изнашивается, — сказала она сама себе вполголоса, чтобы не услышал чувливый любовник. Сказала холодно, как о какой-нибудь вещице, и пошла на кухню.

Как только Аркадий Николаевич ушел, Ирина распахнула окна, проветрив квартиру, протерла пола и села к телефону. Набрала номер подруги.

Тоська ничем же вяла трубку — словно сидела и ждала, когда ей кто-то позвонит.

— Слушаю, — Тоська преданно зашмыкала.

— Здравствуй, — сказала Ирина. И затем-то предстала:

— Это я, Ирина.

— Тоська слушает Ирину.

У Тоськи всегда было ровное, хорошее настроение. И в то же время она понимала, как-то чувствовала известным ей только способом, что творится в душе юго,

с кем она говорила. Вот и на этот раз спросила, чуть приглушая иривость в голосе:

— Что случилось?

— Не знаешь, где можно найти приличного мужика? — не влаываясь в подробности, поинтересовалась Ирина.

В трубке мсрно и деликатно дышали, соображая.

— Предполагаю — в службе знакомства.

Ирина скосила глаза на часы. Было ровно восемнадцать.

— В это время служба закрыта?

— Только начинает работать.

— Тогда отбой. Ирина прощается с Тоськой, — сказала итрово Ирина подруге, оставив ее озадаченной у телефона, и повесила трубку.

Открыла шифоньер. Первым висело парадно-выходное платье тех давних времен, когда они с Венькой только что переехали в город, черное с белым кружевным воротничком. Достала с полочки пластиковый пакет, вытащила из него красный шифоновый шарф, обернула им талию. На ноги в тон ему надела босоножки, сняла с антресолей такую же по цвету сумочку и — бегом на улицу.

Над входом в серое, унылое здание красовалась вывеска: «Служба знакомства «Катя плюс Петя».

За столами сидели женщины с пересушенными под феном волосами. Мертвые волосы сметаны в стожки. На лицах пергаментная кожа, словно содранная с египетских мумий. Мечтательные и в то же время все видящие и понимающие глаза.

Ирина обвела взглядом безупречных, как фирменные костюмы, похожих друг на друга сотрудниц.

И женщины не остались в долгу. Дружно, по-мужски цепко и оценивающе — с ног до головы — осматрели Ирину.

Под прищелом их взглядов она прошла на середину комнаты, взяла свободный стул и встала на него, с вызовом посмотрела на оторопевших сотрудниц службы. Выдержав паузу, спросила:

— Хороша?

— Хороша, — дружно согласились женщины и, в подтверждение своей искренности, закивали головами. Но испуг не прошел — глаза не всрнулись в свои орбиты.

— Достойные есть?

Ирина повернулась к женщинам спиной, давая возможность сосредоточиться для ответа.

— По направлениям. В комплексе нет.

Обернулась на нежный, плуучий голосок

— Как это?

— Как в детском конструкторе: гайчки в одной коробочке, винтики в другой.

— Готовке не встречаются?

— Кто?

— Кто-кто? Мужчины!

— Ах да, мужчины! Знаете, нет, не попадались.

— Вам можно верить?

— Можно! — женщины дружно закивали головами, и стохки из волос дружно повторили их кивки.

Ирина устало опустилась на стул. Голова упала на грудь, ноги разъехались в стороны.

— Женщина, сходите к психиатру, — услышала Ирина все тот же нежный голосок и почувствовала теплую руку на своем плече.

Медленно открыв глаза и долго смотрела в темноте, бездонные глаза пожилой сотрудницы, склонившейся над ней в заботливом участии.

— Спасибо, схожу, — пообещала Ирина. И добавила, как бы запоминая то, что она пообещала: — Я там еще не была.

В конце следующего дня отпрашилась с работы, забежала домой, ополоснулась под душом, надела свое самое любимое платье — нежно-голубое. Шло его у опытной портнихи. Отдала за шитье чуть ли не третью часть зарплаты, но не жалела об этом. Платье получилось ослепительно пышным, подчеркивало фигуру, рост, глаза.

Оперель к психиатру талпа, как съзрел на летнем солнце. И когда никого не осталось в коридоре, Ирина, закрыв глаза, потянула на себя дверь с табличкой: «Доктор Елена Владимировна Евдокимова». Нерешительно переступила через порог.

— Сидите, — сказал усталый женский голос.

Кабинет был такой маленький, что Елена Владимировна сидела буквально рядом с дверью и таранила глаза на Ирину, стараясь ее напугать.

«Так Карabasом-Карabasом пугают маленьких детей», — подумала Ирина, глядя на необычное поведение доктора. Она не испугалась ее, уверенно села в кресло.

— С чем обращаетесь?

— С просьбой!

— С какой? Уточните, пожалуйста! — доктор поправила волосы и украдкой посмотрела на часы.

«Спешит»,— догадалась Ирина. Но отпускать ее быстро не хотелось. Хотелось услышать о себе все до последней капельки — и хорошее, и плохое. Разделить весь коктейль чувств и ощущений по мензурочкам, колбочкам и смешать их снова, но уже в гармоничных порциях.

— Мужчину целиком, а не по отдельным винтикам и шурупчикам,— сказала то, что проплывало в сознании, как отдельное облако, и она успела поймать его и облечь в слова.

Доктор Елена Владимировна закрыла глаза, вероятно, ей надо было представить, как будет выглядеть мужчина без уродующих его, не подходящих друг к другу запасных частей. Такой вопрос был задан ей впервые, и она искала на него ответ в глубинах своей памяти. Но как ни старалась, ответа, то есть верной картинки с решением задачи, представить не смогла. Попросила:

— Выразитесь яснее.

Ирина вдруг поняла, что перед ней настоящий Доктор с большой буквы, и рассказала ей все, что не рассказывала даже Тоське, своей задушевной, чуткой, все понимающей и прощающей подруге.

Елена Владимировна слушала Ирину, не перебивая и не поглядывая украдкой на часы. Казалось, она навсегда забыла о времени. И как только Ирина, вздохнув на последнем слове, устало опустила руки, закончив свою исповедь, доктор по-девчоночьи всплеснула руками, спросила, испытующе посмотрев на пациентку:

— Кто сегодня этим не болен?

Ирина все еще мчалась за вихрем уносившихся мыслей. Они уже не принадлежали ей, покидали ее, но, как это ни странно, не хотелось с ними расставаться. И она напряженно вслушивалась в затихающий лепет последних своих слов. Вопрос Елены Владимировны застал ее врасплох. Но она, как кошка в прыжке, извернулась и вслушалась в то, что сказала доктор. Расслышала только последние слова.

— Чем? — переспросила, удивляясь, Ирина.

— Поиск идеала,— твердо, глядя в глаза, отчеканила доктор. И уже мягко добавила: — Но это все пройдет. Надо только быстрее выйти из берегов и разместить

весь хлам, мусор и всяческие там завалы по сторонам.

Видели, как река выскочит из берегов?

— Видели,— согласно кивнула Ирина. Она отпустила все свои мысли и теперь жила ожиданием того, что ей скажет Елена Владимировна.

— А пытались? — вопрос был пашедеп, как дуло пистолета, и Елена Владимировна наклонила голову, словно заглядывая в него.

— Нет. Не пыталась,— созналась честно Ирина и улыбнулась.

В душе поднялась радость.

— Давайте попробуем вместе — Доктор посмотрела на Ирину озорными глазами. И не дожидаясь ответа, предложила: — Раздеваемся?

Ирина медленно вытаскивала туфли из пеленок.

— Быстрее, быстрее, улыбнулась доктор и акку ратно повесила на плечики блузку, халат, на спинку кресла положила юбку, комбинацию, расстегнула бюстгальтер.

Ирина торопливо сняла платье и, покалебавшись, трусики.

Женщины разделась и друг за другом вышли в пустой коридор. Прием больных окончился, и можно было гулять по коридору хоть всю ночь. Они шли вдоль белых стен, мимо нарисованных плакатов, где мирно лиричествовали на разрезанных помидорах и огурцах мухи, усидчивые и тучные раз.

«Мы тоже, как мухи, по помидорам и огурцам ползаем», — подумала Ирина и звонко (пустой коридор усиливал звук) рассмеялась.

Река выходила из берегов.

И вдруг белая дверь с табличкой «Доктор Тихон Петрович Гушин», рядом с которой Ирина остановилась, медленно отворилась и из проема высунулась сигарета, а затем и голова в высоком колпаке, за ней на пороге возник мужчина в белом халате.

Увидел ногт женщин и оторопел. Нижняя челюсть чело задрожала — сигарета упала на ковер.

— Река потушит пожар, — сказала Ирина, наклоняясь и поднимая сигарету. Попыталась вставить ее в раскрытый от удивления рот доктора, но сигарета пала на ковер.

Тем временем Елена Владимировна подошла к ним, и мужчина, к своему ужасу, узнал в ней коллегу. Глаза сто округлились еще больше и слегка посоповели. Пре-

одолевая смущение, Ирина шагнула к доктору, приложила заговорщицки палец к ярко накрашенным губам.

— Не шуметь! Идет сеанс гипноза,— произнесла серьезно и спокойно и пошла дальше.

— Позвольте! — сказал доктор и, поправив белый колпак на голове, протянул руки в сторону ухившейся коллеги.

— Не позволим! — отрезала твердо Ирина. Она сунула сигарету во все еще открытый рот Тихона Петровича и сжала пальцами его губы, как два края вареника.— Держите! Держите крепче! Можст смыть крутой волной!

И расслабленной походкой, как после упорного многочасового труда, пошла вдоль стены к кабинету Елены Владимировны.

— Тихон Петрович, рабочий день давно закончился. Можете идти домой,— сказала ласково с порога своего кабинета Елена Владимировна и приветливо помахала ему рукой.

— Да, я, пожалуй, пойду,— послушно согласился Тихон Петрович и попятился в кабинет. Захлопнул за собой дверь.

Елена Владимировна и Ирина весело шепетали, рассматривали журнал мод, обсуждая последние новинки сезона, когда в дверь деликатно постучали.

— Войдите,— мягко сказала доктор.— Не закрыто.

Дверь медленно вползла в кабинет. На пороге стоял Тихон Петрович с окурком в зубах и расстегнутым халате. Шапочка съехала набок.

Женщины смотрели на него спокойно и выжидательно, как на старшего и уважаемого.

— Эт-то вы... только что? — спросил он, заикаясь и кивая головой в сторону коридора.

Пепел с его сигареты летел мелкой пылью и оседал на платье Ирины. Но она не стряхивала его, боясь пошевелиться.

— Где? — удивленно переспросила доктор и подняла соболиные, вытянутые в прыжке брови.

— Толь-ко-о что-о по коридору?

Женщины посмотрели друг на друга и, не сговариваясь, встали, выглянули в коридор, потеснив туда Тихона Петровича.

— Две совершенно голыс, пох-о-жие на вас-с, как две-е капли,— все еще заикаясь и по-прежнему не доверяя себе, сказал доктор.

— Это наши фантомы, — объяснила Ирина.

У Тихона Петровича глаза попадали к переносице, и он стал оседать на пол.

— Вы совершенно здоровы, — сказала Елена Владимировна Ирине. — А у меня большой. Извините, — и повернулась к ней спиной.

Ирина вышла на крыльцо и долго стояла там, глядя находящее солнце, а мурьсья и блаженствуя. На душе было свежо, на деревьях пели птицы, на клумбе цвели цветы. И у нее было такое ощущение, словно она впервые все это видит и слышит. Так бывает, когда ранним утром пронесся дождь, встает солнце, а ты идешь по дугу.

— Кисели-морозы, — подражая миссери, сказала Ирина и легко сошла с крыльца.

Все, кто попадался ей навстречу, почему-то улыбались и провожали ее глазами. Она чувствовала их легкую к ней зависть, но, не оглядываясь, шла по улице.

Проходя мимо магазина, придержала шап. Заглянула в витрину, чтобы увидеть в зеркальном отражении себя и выставленные для продажи вещи.

В самом центре висела розовая, вся в пенящихся кружевах, ночная сорочка, такая же, какую ей подарил Аркадий Николаевич. Ирина внимательно осмотрела ее и вошла в магазин.

Заняла очередь в примерочную. Поверх любимого небесно-голубого платья надела розовую сорочку и, не оторвав этикетку, пошла к кассе. Проглнула ошарашенной кассирше денги и вышла из магазина.

На улице никто не обратил на Ирину внимания. Она шла по тротуару, гордо подняв голову, и этикетка, как флаг независимого государства, развевалась на ветру, приветствуя прохожих.

Ирина остановилась возле киоска со школьными принадлежностями. Купила тетрадь в клеточку, авторучку и присела на скамейку.

Писала, стараясь, чтобы буквы выходили твердыми, уверенными, как шагающие солдаты на параде. Писала приказ. Тут не до танцев и криканий. Все должно быть четко, по-военному.

«Уважаемый Аркадий Николаевич!

В связи с тем, что Иван Данилович Петров заболел, совет директоров, назначенный на понедельник, отменяется. Встретимся, когда он выпишется из больницы.

С уважением, Сидоркин А. Т.»

Вывала листок из тетради, сложила его пополам и бросила в сумочку.

Села в трамвай, просхала пять остановок и зашла в парадное большого старинного дома. Нажала на красную, как при пожаре, кнопку.

Ирину долго рассматривали через глазок, она слышала шаги с той стороны. Наконец дверь приоткрылась.

— Вам кого? — спросил высокий, раздраженный женский голос.

— Аркадия Николаевича, — болро сказала Ирина.

— А вы кто?

— Посыльная из офиса.

Женщина распахнула дверь и вышла на площадку в ядовито-зеленом халате с разбросанными по нему ярко-красными и розовыми фантастическими цветами. На голове «тифозная» стрижка, именуемая в простонародье: «Все с головы долой». На лице густой слой грима.

— Аркадий Николаевич на рыбалке, — сказала она, глядя поверх головы Ирины. — Что ему передать?

— Записку, — Ирина протянула сложенный вдвое листок. Женщина быстро взяла его, но разворачивать не стала.

— Распишитесь, пожалуйста, — попросила Ирина всжливо и протянула авторучку и тетрадь.

Жснщина расписалась и, возвращая тетрадь, посмотрела на Ирину. Глаза ее слегка округлились от удивления.

— Вы почему в таком виде? — спросила она строго, указывая на висящую на груди этикетку.

— Это униформа.

— Такая? Почему? Зачем?

— Чтобы отличаться, — с достоинством сказала Ирина и гордо посмотрела на этикетку.

— Зачем?

— Из коммунистического недостроенного здания мы все вышли в рабочих спецовках, черных, синих и полосатых. И тут нам руководящие силы говорят: «Идите вперед и стройте, но идите не в ногу, как ходят солдаты на параде и как вы шли прежде, а вразнобой. Хождение строем не оправдало себя. Этим чеканным шагом пришли к краху, а не в светлое будущее, как мечталось». И мы, наш коллектив, чтобы не шагать со всеми в ногу, придумали униформу. Она кружевная и заставляет ходить по-балетному грациозно. В этом наше благородное отличие от других.

Ирина говорила настолько убедительно, что женщина поверила ей. Ирина видела это по ее тельняшным глазам. Вероятно, в той напористости, с которой Ирина чеканила слова, женщина чувствовала напористость и убежденность своего мужа. Но поверила не до конца. Верх взяла осторожность.

— Аркадий Николаевич видел эту униформу?

— Не то что видел, покупал собственноручно за границей, чтобы мы, его сотрудники, не смешивались с другими и отличались ото всех в толпе.

— Не предполагая, что у него такой вкус, — неопределенно, то ли осуждая, то ли восхищаясь, сказала женщина и привела по осязкам волос зеленой рукой, пальцы которой были унизаны золотыми кольцами.

Но именно эта неопределенность обидела Ирину, и она приняла замечание в свой адрес.

— У Аркадия Николаевича отличный вкус. Он прекрасный руководитель, — Ирина нажала на глазные Женщины сконфузились и стали что-то припомирать. Морщина узенький лобик, влопала ресницами.

«Одинока и в одиночестве сатаеет, как всякая баба, — вдруг подумала, глядя на нее, Ирина, в то же время жалея ее. — Из бзретов выйдет не скоро, если когда-нибудь вообще осмелится или погалается».

— Вот такие кисели-морозы, — развела Ирина руками, подытоживая встречу.

— Что вы сказали? — спросила испуганно женщина, заостряв взгляд на Ирине.

— До свилания, — как можно почтительнее сказала Ирина. Подчиненные обязаны уважать не только свое начальство, но и их же, какими бы они ни были. Тем более надо уважать начальника, который придумал такую роскошную униформу.

Ирина выскочила из подъезда и бодро зашагала по улице. Этикетка, как государственной флаг неизвестной пока страны, развевалась на ветру и релостно приветствовала прохожих.



ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ

АКИМОВ

родился в 1949 году в городе Новомосковске Тульской области. Окончил Московский химико-технологический институт, по профессии инженер-механик. Публикуется в городской и региональной прессе, автор поэтических книг «Полоса отчуждения», «Хочу успеть», «Крупницы». Живет в Нижневартовске.

В детстве

Я так в детстве просил,
Страшно теmeni труса,
На печи свой заняв уголок:
«Расскажи мне про «раньше», дедуся!» —
И блаженно смотрел в потолок.
Начинал он скрипуче-упыло,
Каждый раз предваряя рассказ:
«Хоть и раньше, внучок, это было,
Все мне кажется, будто сейчас».
Мол, правдивости я не нарушу...
Голос деда уже молодец.
Отводил стариковскую душу,
Вспоминал, отдыхая от дел,
О работе, гулянье, базарах...
Дед не мог позабыть старину.
Но всегда обходил в «мемуарах»
Революцию, мор и войну.

Матери

Нас корни родные питали,
Учили добро осязать,
Но так, видно, уж воспитали,
Что — в сердце, не можем сказать,
Лишь образ душою колышет,
Без слов, хоть язык оторви!
А вдруг не успеешь услышать
Признанья сыновней любви?

Женщины на танцах в санатории

Не смог я удержаться от стихов
Ну просто было некуда лезть-ся!
Не было им курортных женихов —
Охота под оркестр танцеваться.
В жданье том они изнемогли —
Хотя бы на мелодию забиться.

Паркет и кяблучки не берегли.
И были в такт проворные копытца.
Все далеко, и семья, и года,
Не существуют и болезни тоже...
Простите женщины — это не беда:
Они, быть может, жизнь свою итожат!

Почти далекий март

В груди становится тоснее —
Волнует луну не март:
Я на тропинке рядом с нею,
А третьим краше месяц март.

В сердцах он хмелем разливался,
Вскружил он множество голов...
Я шел и счастьем улаживался,
И было вес, яншее стого!

И самому себе в угоду
Я голоса у птиц сличал.
Винной — весенняя погода
И близость милого печал!

Зеленый плод

Небесный спод — романтикам оплот,
Как володем, безбредный и глубокий,
А тут висит совсем зеленый плод,
И угловат на вид, и твердобокый.

И тепл июньский ветер, и не груб.
Лучи любовно землю обливали.
Но этот плод не пробую на зуб,
Хоть просит он, чтобы его сорвали.

Я ваше любопытство уголю,
Ответ мой лаконичен и конкретен:
Вкус горечи с кислинкой не люблю,
Запретный плод и для меня запрещен!

Примета безвременья

Живем под небом и под Богом,
Но в хаос мчит на всех парах.
Мы у безвременья залогом:
Вселился в наши души страх.
За нас самих, за наших близких
Боимся думать наперед.
И претъявляем всюду иски,
И ждем свой жизненный черед.
Пришла беда, какие шутки!
Примета этих смутных лет:
В кармане модной дамской шубки
Лежит заморский пистолет.

Забастовка шахтеров

Пришла неповторимая весна,
И кончилось терпение народа.
Восстав из детаргического сна,
Волнуется мятежная порода.
Был бой объявлен партособнякам.
По просьбе вездесущих репортеров
Для помощи кузбасским горнякам
Я выслал деньги в комитет шахтеров.
И мой червонец лег среди люпских —
Я тоже правды жаждал и свободы
От митинговых улиц городских.
И вот прошли клокочущие годы.
Окончился ничем запал тех дней,
Опять народ безропотный и кроткий...
Не жаль десятки — дело ведь не в ней,
Но лучше бы тогда купил я волки.

Первой

Неприменная дережня
Под названием Три Ключа.
Скрыли кропами дережья
Обелиск из кирпича.
С горизонтом солнце слито,
Вечер зноем опалел...
И фамилии на плитах
Весь поротно батальон,
Почему убитых много?
И ответил старожил:
«Буторок вон, где дорога,
Он оттуда их сложил.
Вспоминаю и поныне,
Как тогда швед сирень,
Наступали по равнине
В светлый, теплый, славный день.
Мы всегда любили даты!
А теперь и ты узнай,
Как отметили солдаты
Пролетарский Первомай.
Пулемет немецкий страшен,
Как на стрельбище, их бил
Кровью был весь луг раскрашен,
Сколько он осиротил!»
И, напрягшись, как в атаке,
Я представил этот ад...
А вокруг адели маки
И кровил их закат.

Вечернее

В небесах, в бездонных водах,
Звезд не видно. А пока
Зелал в розовых разлогах
Да темнеет облака.
Размечтался, присмирел, я,
Воздух сумраком обмят.
И сплелся в одно дерево —
Черной стенкою стою,
Лишь виднеются вершины.

Вечер — тоже Божий дар...
В темнѣ мчит меня машина,
Мрак буравя светом фар.

Путь к себе

Считай лишь благодати,
Несчастья позабудь.
Что б ни было — все к стати,
Всегда спокойным будь.
Хоть жизнь закружит в вальсе
Иль забурлит ключом,
Судьбе не поддавайся
И не пасуй ни в чем.
И никому не выдай
Кипения в крови.
Живи и не завидуй,
Живи себе, живи.

Судьба

Пусть не как все, пускай живу иначе!
Не зря себя считаю я поэтом:
Такой мне путь судьбою предназначен —
Писать стихи. И в том числе об этом,
Что в думах не хочу дойти до ручки
И не могу с нелюбими ласкаться,
Живу не от аванса до полочки,
А меж своих нечастых публикаций.
Просчеты в них, находки и уроки...
Но сколько б ни прошло и лет, и зим:
Пока в душе роятся эти строки,
Я для своих врагов неуязвим.



**НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ
СМИРНОВ**

родился в 1917 году в деревне Иска
Гришковский области. Окончил факультет
журналистики Уральского государственного
Работал в тюменских средствах массовой
и-формации, строил железную дорогу
на Нижнекартовск, разбуривал первые
сельхозмашины (самолет).

Автор одиннадцати книг, широко
публикуется в периодике, участник
коллективных сборников.
Присвоения Н. Смирнова переводились
на болгарский и литовский языки.
Живет в Нижнекартовске.

Левитановский пейзаж

Сам-то я сибирский, из Затюменья родом. У нас
леса больше смешанные — как от областного центра к
северу пойдешь, так и начнутся березняк да осинник
с сосной иперемежку. Километров сорок отъедешь
трактором, деревня наша стоит. Ваюль реки произвудась.
Деревня Иска и река Иска. Мой дом на самом берегу.
За рекой ельник хмурится: и в солнце, и в непогоду. По
правую сторону, дальше километра за две, березнячок
выпрится над своей речкой. Летом зеленый, а как сен-
тябрь нальзняется, в сплошном полотно этом желтые
промоины появляются. Из них позднее целое поховалье
разливается.

В ясный, тихий денек выйдешь из дому, глянешь. ни
дать, ни взять Левитановская «Золотая осень». В люч-
ности как на картине: лес, река, раскраска неба даже.
То и отличие, что в натуре это, живое.

Бросишь тогда дела самые неостложные и понизой,
что у реки, к березнячку. Поднимешься, запыхавшись,
на гору. Лес, вот он, постветляший, желтобоким, рас-
такнул приветливо двери, дожидается: ктоли, мол, до-
рогой гость! Эли он илзиди неуступным, сплошным
кажется, на самом деле деревья присогрдно стоят, врез-
бежку. Места хватает, свету много, потому кроны кур-
чавы, почти правильной шарообразной формы. Ветви
крепкие, лист густой. Поредет, правда, осыпается. Кра-
сота осени с ним уходит, зима нелегивается полурю
детый лес занять. Она где-то за недвлями скрывается,

далеко, и не парствовать ей. пока березы полностью наряды не стряхнут.

Листья кружатся.

Листья падают.

Толсто их насыпало, земли не видно даже. Нога как в перине тонет, мягко, неслышно совсем. Улавливается лишь легкое шуршанье под сапогом, точно бумагу сминаешь. В остальном тишина идеальнейшая. Только это так кажется. Звериное ухо чутче: ворохнет листок на дереве — слышит, обронится хвоинка — насторожится вмиг.

В пору листопада взрослого беляка в лиственном лесу не встретишь, уходит, а то куда ни повернись — всюду шорохи, шумы беспрестанные. Угадай, что это: может, лисица по следу подбирается. Круглые сутки преследуют зайца страхи. Дрожит косой, дрожит и задаст стрекача в ельник либо бор сосновый — там спокойнсе. За зайцем лисица утннется: боязно и кумушке, как бы под шумок в зубы рыси не попасть. Крупные хищники опять же охотника сторожатся, на временные квартиры переселяются, разве что несмышленыш какой в березнячке задержится.

Один ты одинешнск. Вокруг березки погрузневшие одежды свои теряют. Меж березок коридоры широкие. Трава в них полегла, заровняла ямки-колдобины, получился пол ровный. Прыгают по нему две рукавички, большими пальцами пошевеливают. Откуда ж им тут взяться? Не рукавички, конечно, зайчишки-листопаднички, а уж схожи очень. Куда бегут, неизвестно, друг дружку задирают, мордочками тычутся, колотят лапками. Один затаится, второй разыскивает, вновь резвятся. На частые блески сверху внимания не обращают — пусть лстят.

Пень, на котором сидишь, обежали. Понизу смотрят. Ноги увидели: тоже за пни приняли, почесались бочками, на сапогах шерстинки оставили. Спинки у косят белые, как известкой помазанные, — перекрашиваются, чтоб зимой от врагов легче прятаться было.

Копошатся зайчата, вкусные корешки из земли выкапывают, ушами поводят. Слух у листопадничков отличный, на него полагаются. Чуть что, столбиками на задние лапки усядутся, «локаторы» настроит и замрут. Им, может, от ролу-то неделя всего, а сами корм добывают и жизнь собственную оберегают. Врагов предоставно, в оба слушай.

Заметила зайчишек сойка и давай на весь лес трещать, разбавлять. Ни минуты усидеть спокойно не может, крутится, как из коту. Косенята в смородинник — шмыг и были таковы, попробуй рзыщи.

Улетела сойка, солнце будто крылом сдвинула. Садится оно. Сумерки в берюзовых коридорах высипали, робкие, неуверенные пока, сливают тона в однообразно-серый, расплывчатый.

Домой пора. Попался на пути рыжик, крутленький, адренный, величиной с пятак и в земле весь. Наружу одна шляпка торчит. Сковырнешь, пощощаешь, аж слеза прошибает: узрят в нос переброшенные, крепкие, как сам рыжик, запахи земли. Будто добрая вечерняя сказка, волнуешь!

До будущего года, жлобань осень! Я приду полюбоваться прошлойной красой твоего наряда. Может, встречу здесь листопадничков, позаний гриб найду, а если березнячок и вырубят, то он все равно останется жить, потому что художник подсмотрел его и переложил в карандаш на полотно. Поэтому он вечен. И хочется создать свой «левитановский пейзаж». Пусть это будет книга или научное открытие — все равно, лишь бы потом о тебе сказали: сделал ног. Только следую ли? А надо бы.

Лесной житель

Приехал я как-то к другу в отдаленную глухую деревеньку, чтобы провести у него отпуск. Переспал ночь на сеновале и утром чуть свет отправился в лес. Пужье со мной, патронташ.

В одном месте встретился ручей, вернее, его пустое русло, или, как называют у нас в Сибири, ложок. Решил я исследовать его и отправился вдоль бережка. По сторонам осинник молодой растет. Рябины тоже много, смородины. Эти наособицу стоят, томо запачкаться о соседей боятся.

С шуршанием легким, почти неслышим, являтся отмерший лист. В воздухе плавают тонкие, прозрачные нити паутины. В такие дни рябины любят кормиться на ягодинках. И уже замедляешь невольно шаг, надеясь увидеть юркую птицу, но лес бережет своих обитателей от чужих глаз. Зато, если сдружишься с зеленым велика-

ном, он поведает много интересного. Тайны свои откроет. Лежит поперек ложка вывороченная с корнем со сна, а воображение рисует мутную, ветреную ночь, причудливых теней мельканье. Стон, треск... Наломилось дерево, рухнуло, получилось нечто вроде навесного моста.

Прошел по нему на другой берег и враз наткнулся на лужайку. Было здесь пустынно и тихо. Малинник разросся буйно и теперь гнулся под тяжестью крупных спелых ягод. Почувствовал я тут себя Робинзоном, обрадовался: первый нашел. Тронул ветки, одну, другую... Вдруг ссернькое, полосатое из-под ног швырк — и на дерево! Смотрю — бурундучок, уставился глазенками, не мигнет. Нарочно не обращаю на него внимания, на свистываю хожу. Полосатик успокоился, спустился вниз и давай трудиться: стебель малины нагнет и ягоды лапкой в рот себе. За щеками у него специальные мешки. Он их набьет допона, сбегает куда-то, высыплет малину и тотчас же обратно возвращается.

Любопытно мне стало. Пошел за бурундучком и увидел нору, не замаскированную дажэ, тут на взгорке. Понял: припасы готовит зверюшка. Дай, думаю, помогу, ведь старается трудяга. Набрал пригоршню ягод, сложил возле норы, сам смотрю. Бурундучишка прибежал, обнюхал малину, не удивился, а воспринял поступок, как должное. Перекатал ягоды в кладовую и не уходит, ждет: понравилось, видно. Делать нечего, пришлось включаться в работу. Так и трудились вместе. Полосатик до того освоился, что на руки позволял себя брать — храбрый оказался, доверчивый. Почувствовал, что друг к нему пришел.

Я потом часто навещал бурундучка. Он слышит шаги и мчится сломя голову навстречу. Заберется на плечи, обшарит карманы и уж обязательно найдет го- стиниц.

Только однажды, в день отъезда, пришел я, а его нет. И нора забита сухой травой. Значит, в землю ушел. К чему такая спешка? — удивился я. До зимы еще далеко.

А вечером поднялся ветер, нагнал тучи, и повалил снег, да такой густой, как в декабре.

Не ошибся лесной житель.

Зимой в этих местах я побывал снова. Решил заодно бурундучка проведать — как-то ему спится. Надел лыжи, дробовичок прихватил на всякий случай и отправился к знакомому месту. Снегу понасыпало в лесу —

мелколезе в белую пуховку укуталось по самые плечи. Заячьи прыжки набиты густо. Лиса просочилась стороной. Горюстая завел замшеловатую стезю.

Не стал разбираться в писанине, напрямую к ложке поехал. Того не узнать заровняло снегом, как бы непроходимая дорога расскажет чашу. Поваленную сосну слва заметно. Человеч по ней шел в тапках или самокатных валенках след широкий, неаккуратный, носками вить. У нормальных людей обычно ноги вместе. Нипалид, что ли?

И то странно, что без лыж. Пожалел я горемыку. Какая немишуца погнала его в лес? Выволоочь на снегу свежая, согоняния, затвердеть еще не успела. Видно, прополтася неизвестный на месте, приняв плотно снег. У молодой осинки непонятно зачем срезал почки, ветки некоторые обломал начисто, разбросал их. Лужайку, на которой малинник, пересек. Над бурнундчишским жилищем снег взлетел ворожкой. Земля чернеет.

Преступление нилицо. Теперь уже в догадках: никакой это не человек, а обыкновенный медведь-шатун. Полная же ко времени из берлоги и бродит в поисках съестного, а кто наготовил для него? Пору, наверное, приметил с осени, разрыл, чтоб воспользоваться даровыми припасами. Хорошо, если сам хозяин уцелел.

След косякастого протянулся в чашу — за версту видно. В обратную сторону от норы цепочка выется, петляет на снегу, вроде беличий,— подосатик бежал. Скорчки развизаистые, броские, напуган был зверек.

Догнать нало: погибнет голодный на холоду. Поворотит лыжи и вслед, сейчас думю, истягну. Да не тут-то было, бурнундчишка прокостновилась, а как слышит хруст снега под лыжами — наутек принудит, думает, медведя его преследует. Долго продолжалась такая беготня. Бурнундчишка садаять стал: хвост по снегу волочит, прыжки обвалит. Рядом он где-то, сейчас звужу лесного жителя. Тотже предположил, подосатик выскакивает из-под буреломника — и на дерево. Вскатывается, смотрит, я молчу. Он глядел, глядел и — бутлах с головой в снег.

Я его скорей на руки и в карман, чтоб отогрелся. Принес домой. У примета выпрессил молока, налил в бидеже, хлеба накрошил — есть не хочу. Бурнундчишка ябидя под кроватъ, никак выходить не хочет. Потом осмелел, подобрался к блюду, полакал. Закусил хлебом и уснул преспокойно, растаянувшись у печки.

Всю зиму прожил в избу.

Весной выпустили его на волю. Полосатик на старую квартиру не пошел, вырыл пору прямо за огородами, ближе к деревне, чтобы в случае беды пришел человек-друг и выручил.

Шатуна того местные охотники выследили и убили. Поделом возмездие: не безобразничай.

Лунная карусель

Я видел лес во все времена года, при разной погоде. И от каждой встречи с любимым другом осталось свое особое, приятно волнующее ощущение. Больше всего запомнился зимний березняк ночью. В трескучий январский мороз пригласил меня приятель на заячьи засидки.

Стояла пора полнолуния. Спящий мир был занят неярким, таинственным светом. От него снег окрасился голубым. На голубое упали черные тени деревьев.

У настоящего леса появился двойник, его точная копия. Все есть, даже просеки: пространства между деревьями. Отправился я по ним, на косых махнув рукой, а то в легкой пальтишке стужа пробиралась до костей. Очистил к утру.

Луна на месте не держится, потихонечку катит влево. На небесную высотку взобралась. Просеки поворачиваются соответственно ей, деревья-тени совершают круг. В общем, получается карусель. Я на просеки ориентируюсь, поэтому вместе с ними совершаю путешествие.

У луны свои графики. Вышло время, и она погасла. Я нахожусь близ места нашей засидки. Встает от куста приятель с болтающимся жалко у пояса зайчишкой, кричит насмешливо:

— Много ли длинноухих настрелял?

— Длинноухих,— отвечаю,— бивал. На мою долю еще остались, а вот ты на лунной карусели катался?

— Нет,— сознался он,— а что это такое?

Непростое яичко

Мы крепко тогда поспорили с Федоровым. Он утверждал, что чудес на свете не бывает, все просто, буднично, предопределено. Я доказывал обратное. А тут

и случай полсернулся, подтверждающий мою правоту. Началось с того, что я пригласил Ивана Сергеевича с собой на охоту.

Пора весеннего лёта птиц, минувши, но пару свинойей на зорьке добыть можно было. Мы отплыли на серелину озера, ближе к камышам. В темноте они едва едвя углывались. От воды тануло мозглой сыростью, востерок зябко овевал лица, поминутно всплскивая пол ботами лодки волнишки.

Иван Сергеевич ворчал: «Дернула нелегкая привычиться сюда, спал бы спокойно». Конечно, в душе он рудал кеня, по что поделаешь, раз заспорили, надо узнать, на чьей стороне правда.

Связи в это утро не появились, и умышис Фелорова еше больше усилнлись, вадзлнл опно: домоу да домоу. Совсем уже повернули к берегу, как вдруг у камышей суматошное хлопьянье, утка-чирик запуталась в рыболовной сети, выбраться не может. Хотел я вынуть беднигу на волю, Иван Сергеевич против — мол, без трофея возвращаться стыдно. Крылья-ноги утке камышинами стаяли, положил под спяле.

Привычали к берегу. Чтоб отогреться, решили разжечь костерок, отправились в лес за сушняком. Чиришку оставили возле сумки с боеприпасами, думлем, куда денется спеленатая. И что же, возвращаемся — ее нет. Лежи на праве яичко, бело-матовое, куриного поменьше.

Иван Сергеевич взял его в руки, повертел с разных сторон, мне подает. Скорлупа теплая, слетка шероховатая, и, похоже, бороздки протянулись по ней. Пальцами ощущаю, а на глаз не различу. Попупел старательнее. К солнцу перед собой вытянул, рассматриваю.

Федирон смеется:

— Снесла курочка яичко не простое, а золотое

— Зря, — говорю, — ты так. Действительно, не простое.

— А что? — заинтересовался.

— Да гляди... Бороздки на скорлупе замечаешь?

— Ага, — кивает. — Вроде того... с пупыршками...

— Так вот это пути-дороги, по которым будущий утеныш полететь должен. Вон стрельчатая в Инлию протянулась, с кривинкой другая — к Африке направлена... Кипарисы растут там, обильным лакомятся кокосовыми орехами. В джунглях по ночам бродят: пятнистые гиены, вой поднимают шакалы. Утеныш, может,

в самые дальние страны умчится, за синь-море.— И восклицаю с жаром: — Иван Сергеевич, вы знаете море?!

— Не приводилось,— удрученный пропажей утки, вздохнул Федоров.— Бухгалтерское дело, ведь сам знаешь: балансы-расчеты, свободного времени ни на толику. Когда уж схать-то, у этого озера хоть бы с полмесяца погреть бока, и то счастье.

— О-о, Иван Сергеевич, вы многое потеряли — море же... море... такое теплое, ласковое, в зеленых блестках. Ах, как маняще оно, когда выйдут под белыми парусами яхты...

Федоров придвинулся ко мне вплотную, взгляда от ячика не оторвет, и я понимаю, что он видит в нем и Африку, воющих в джунглях шакалов, лазурно-зовущую даль неведомой страны, несущегося в облаках утеныша. А еще говорил, что чудес на свете не бывает.

Улыбка

— Хотите, покажу одну примечательность? — сказал мне однажды знакомый охотник.

— Что такое? — удивился я.

— Погодите, увидите.

Мы спустились к реке, перебрались на другой берег ее по шаткому, в две жерди, переходу и углубились в лес. Узкая, едва заметная тропинка замысловато петляла в длинноствольном сосняке. Солнечный свет, рассиваясь где-то в вершинах деревьев, до земли доходил мало, и от этого постоянно казалось, что мы находимся в глубоком ущелье.

Мох унизан пахучим брусничником, но ягод не видно: всной на цвет упал мороз и в большинстве погубил его. Остальное довершил установившийся после зной без единой дождинки. Травы росли захирелые, жесткие, как проволока. Грибов уродилось мало.казалось, вместе с жарой вымерло все живое: ни веселого пересвиста пернатых, ни звонкого ауканья ребятишек.

Грустно па душе стало, будто видишь друга в беде, а помочь ничем не можешь. Плелся я за проводником уныло и на чем свет проклинал себя — зачем, спрашивается, пошел?! Настроение только портить.

Бор редел и постепенно сошел на нст. Сменили его рыжие ползучие кусты тальника и горбылистый чере-

мушник, между которыми кой-где проглядывали зеленые куполов остролистной крушины. Мы все шли, пока не уперлись в гору, подчичившую прозвище Лысяя за полное отсутствие растительности. Только голынь и уживалась на глинистых, твердых, как кремни, склонах ее.

Немало я был удивлен, когда спутник показал мне местечко, сплошь усыпанное земляничкой. Казалось, нарочно кто рассыпал ягоды, так их было много.

Радуга глаз, ароматные бомбочки выглядели между камней, свисали с обрывчиков, адели в углублениях. В общем, гисмелись в самых неподходящих местах и, видать, неплохо прижились. Другое растение и на ближайшей ночи роздлет пустошет. Смотришь, у него и стебель толще, и вены больше и земле, да что говорить — все удовольствия, а росту не видно. Плодов по-давно. Покрасуется лето, позеленеет узорным листочком и уйлет пол снег без пользы.

А такую напористую земляничку встретить и подивиться не из чего ведь подилякс. Образуется. Она как добрая, дружеская улыбка, крепкое рукопожатие, сердечное науучивие, от которых легче шагается, вольнее дышится. И не сожалешь больше о затреченном времени, забываешь о трудностях пройденного пути и прочих неприятностях.

Ну, чем не примечательность?

У них тоже любовь

Встречал как-то зорьку на тетеревином туку. Утро выдалось холодное, ветренное, птиц собралось мало, да и те, что прилетели, вялые. Чувфакнут раз-другой порялка гали и земчат. Для охотника натуралиста такая беляня интереса не представляет, и я уже хотел покинуть шалаш, как тугой черный «планер» выметнулся из-за деревьев. Приземлившись, посидел неподвижно, осмирился. Ближний к нему летух хохлитса, спрятав шею в перья — словно неживой.

Новичок побежал быстро-быстро, долбанул гелемжа и наброуе, так что у беляни полетели перья. Оборонился он не стал, посмеялся трусливо, а вслед ему неслось воинственное: чурфы-и, кто сие? Выходи на бой!

Желающих не находилось — то ли козачи действительно побавались не в меру строгитного собрата, то ли

не хотели подставлять себя ветру? Присмирели за кочками, возле кустиков — все защита. На новичка в упор смотрел главарь-токовик. Поведение тетерева раздражало его: стоит проучить... С вытянутой прямо шеей главарь устремился к новичку, хотел таранить грудью, но промахнулся. Атакуемый стукнул бородача клювом. Ух, раскипятился тот! Ударяет крыльями, подскакивает, норовя затоптать. Сильный. Зато новичок ловчее, настырней. Не уступает.

Он был еще совсем юн. Сегодняшний ток, по всему, первый в его жизни. Не потому ли дрался тетерев с упоением, самозабвенно? Закрыв глаза, можно было подумать, что на поляну собрались птицы со всего зеленого царства, такой шум и треск стояли.

Кто кого? Они сцепились. Главарь жал новичка к земле, тот в свою очередь пускал в ход клюв. С интересом следил я за поединком. Да не только я. На березовой ветке обеспокоенно крутилась рябенькая тетерка. Полагаю, что симпатии крылатой болельщицы были на стороне юного бойца. Только трудно поверить в победу, мужество мужеством, а сила и опыт тоже многое значат.

Но молодость все-таки взяла верх, главарь с позором бежал. Больше он сюда не вернется, у токовища другой предводитель.

— Чуфы-ы... ффы... — рвалось через колки. Буян-ветер расплескивал песню, но силен был голос, звонок. С напором бил. И сам тетерев, обрызнутый лучами проглянувшего из туч солнца, казался изумительно красивым.

Очарованная удалью тетерка спорхнула с ветки и смело приблизилась к чернышу. Очевидно, он признал ее своей. Забыл обо всем на свете, птицы закружились в лихом танце весны.

Хотел я их срезать выстрелом, да вспомнил давнее свидание, девушку в голубом, прозрачное, как стеклышко, небо и передумал: может, у них тоже любовь...

Змеиный выползок

По весне змеи сбрасывают кожу. Видел однажды, как гадюка, упершись головой в сосенку, надрывала серо-желтую с темными зигзагами по спине ткань

и стала выползать из нее. В дотле пустых глазах пресмыкающегося заметил я боль. Видимо, ис без устанный давалась «перепаня». Так бывает всегда: старое, отвердшее убрать нелегко. Оно прирастает прочно, мешает расти, развиваться, потому хотя бы через муки от него избавляются.

— Жен голая, розовая послешла скрыться под кошку. Оледи ее, никому не пужайся, оследишь лежать на мшате. Я принес выхлопк лодой и теперь храни как напоминание о вечном законе природы: жить — значит двигаться вперед!

Женьшень дяди Кузьмы

Дядя Кузьма мастер на всяческие байки, болыне всею про лес: какие водятся в чащах звери, сколько лет живут птицы и почему, зачем деревья лист по осени теряют, а сосны хвою — нет. Саде: в окружении ребяташек или взрослых на брэнно под окнами, давай закручивать. Где и правду перемешает с вымыслом. Не обижались на него, от простоты души и веселого нрава фантазировал. Чтоб слушалось зыблательней. Так порой увлечется, что сам в собственные небылицы верит.

Может, поэтому не всерьез отнеслись, когда завел речь про сибирский женьшень. Уж чего-чего, а корня жизни наша зелья не хоят. Но дядя Кузьма возражает: ест! И далее об заклад побился с Костей Дудышкиным.

Зима как раз свирсела, громыкала и данила стужами. Невозможно разрешить спор на деле. Пока ждали тепла, и забыли о том. В мае спорникам вдвоем довелось пидить дрова в березяках. Часничют там как-то под наместом распускающейся листвы у костерка, Костя и напоми на женьшень.

— А не худо бы, Кузьма Илларионович, попробовать китийского целебного растения, глядишь, прибави к своему вку голик-другой.

Усиделся.

Дядю Кузьму словно пружиной полкинуто снизу, ослгани, кружку и по тропинке, что вела к колоде в низинке, отправишся. Минут через десять возвращается с толстенькими, как обрубленными с концов, коричне-

выми, или чуть темнее, корешками. На коже крошки свежей земли остались: только что вырыл где-то возле колодца.

Смахнул крошки дядя Кузьма и показывает корешки:

— Что я говорил? Он и есть местный женьшень. Очень даже полезный.

Костя в задир:

— Так всякую траву-дрань можно выдать за грецкий орех!

Дядя Кузьма миролюбиво:

— Зря горячишься.

Опустил корешки в чай, дал воде покипеть и разлил по кружкам.

Дудышкин в жизни приятнее напиток не пробовал. Крепкий, не то мятой, не то спиртом отдает. От кожицы коричневый с темнинкой. И чем дольше его пьешь, тем больше хочется. Что за чудодей такой?! Костя просит объяснить.

— Да чего, Костишка, баять-то.— Дядя Кузьма обмакнул в кружке усы, остатние капли выплеснул себе в рот.— Обыкновенные это кочушки. Излаяна употребляю вместо приварки к чаю — и здоров не на годик-другой, на все тридцать. Как дуб морским остаюсь. Обхожусь всю жизнь без дохтуров. Не я один, многие на себе испытали. Известно, народное средство.

— Может, в самом деле корень здоровья, может, действительно родной брат того самого знаменитого?! — вдохновился Дудышкин.— Я его на экспертизу в облцентр свожу. Запатентую...

Не знаю, свозил не свозил Дудышкин в облцентр кочушки, запатентовал не запатентовал их, но только крепко он тогда уверовал в чудодейственность корешков и, порывшись еще в земле, возможно, отыщет такое, о чем и не предполагали. Я почему-то думаю, что отыщет.

Березовая роща

Она простиралась за деревней, даже и не роща, а целый лес, но почему-то все именовали ее «рошей»; или оттого, что щебетали там птицы неунывно, или потому, что пестрело много цветов и по краю пушилась золотистая верба. Ею весной украшали избы, ставили в банки с водой.

Роше гарила любовь. Помню, как Степа! Никитенко с Нарварой Подоплскиной шли через лубравы и глаза их светились счастьем.

Хорошая любовь венчается свадьбой. Выстроили Никитенки дом на краю деревни, под окнами Степан посадил тогда две березки, и, как достигли они роста человека, родились у Никитенков сыны. Первый и единственный. Сызмала потянулся к технике. Степан: возьми его к себе на трактор и так едет. Николка качается, качается на сиденье в кабине, уснет. С закрытыми глазами падает на руки матери.

В школе он прошел «Курс машиноведения», и куда как не на трактор ему после школы. Стал Николка механизатором. «ДТ» у них с отцом общий, посменно трудился. Цену им в деревне знали, и они себе тоже.

А больше всего уважали чужую и то, что на ней зденост. Роши, милая роша! Она поларила любовь и Николку, который, подобно отцу, шагал с подругой Наташей, рвал цветы и рассеивал в воздухе. Ложась на траву, они продолжали гореть, переливаться оттенками.

В семейную жизнь провозгла роша, принимала огорчения и восторги, утешала и возвращала веру в пошатнувшееся счастье. И Николкиным бы влукам преподала мудрые советы, подсказала, но... Стучилась палочка: рошу приговорили к смерти. Земля скороспелого АОЗТ, и значи, джэго, и АОЗТ властно распорядится им по своему усмотрению. Застонала земля, зашумели деревья. Что ни поляга вляят молодцы-любители. На продажу или еще куда.

У Никитенков ноет под сердцем. Встречают председателя АОЗТ: тот с заместителем Трудоперкиным катил на лямочке.

— Радость и утеху губите. Асентий Асентьевич. Вокруг деревни порубили все, спилили, так хоть последнее оставше.

— Что еще за теячье-крокодильевои слезы? — взирает слезюка Озюбихин. — Вроде серьезные люди, а о деревне пекутся. Время такое, браты, что размахнись рука, раздулись плечо. Хром-никели и уралмашы за так отдают неизвестно кому.

Трудоперкин смешком изохелся:

— Ххе-хе-хе, стар ля млад, да березовая роша. Скорчем ее искорсти, чтоб не занимала место. Нам дело поважней роши провернуть надо.

У Никитенков от гнева темно в глазах.

— Напишем президенту,— заявляют решительно.— Если не поможет письмо, сами в Москву к Ельцину поедем.

Но пока ответа на письмо ждали да собирались ехать в Москву, АОЗТ заслало корчевальщиков, и те в двое суток довершили то, что начали топор и пила.

Год лежала земля нетронутой, как после бомбежки. Нынче посеяли лен-долгунец. Тучный уродился, словно чьей-то жизни кусок отхватил.

Испытание на смелость

Много раз Ксенофонтов пытался взять эту чернобурку. Гончаки Аксай и Зельма обычно страгивали зверя у Трехногого ложка, с лаем устремлялись по следу. Где-то на полкруга готоса их вдруг обрывались, и спустя немного собаки возвращались сконфуженные.

«Что за чертовщина? — недоумевал охотник.— Или западня какая?» Захотел узнать, отправился по отметинам на снегу. Собаки нюхали лисью стежку, волнуясь, взвизгивали. Все как будто ладно. Пересекли реку. От пастушьего балагана на них устремились зубастые, с доброго теленка овчарки, при виде которых гончие трусливо поджав хвосты, спрятались за спину хозяина.

Отбивая злюк прикладом, Ксенофонтов упрямо шел вперед. Чернобуркин след тянулся прямехонько к балагану, словно невидимкой обернулась лисица перед грозной сворой рычащих псов, ведь иначе бы загрызли неминуемо.

Интересно стало. Смотрит — мах на крышу. Ямка мята в белой перине, обтаяла по краям: зверь лежал. А на другую сторону протянулась строчка. Да как же так?!

— А так,— объясняет Семен Шворин, он стерег здесь общественный скот и хитруньины маневры наблюдал,— отчаянная попалась лисичка-то! Видит, что нет спасенья, и прямо — на овчарок. Пока те сообразят, что к чему, суть да дело,— она на крыше. Достань попробуй шуструю. Овчарки со зла бросаются на твоих допоухих. Может, не так,— оговорился при этом Семен.— Бывает, зверь зверя уважает за храбрость. Почему бы не пошадить чернобурку. Испытание ведь держала на смелость. Тут нервы да нервы нужны.

Ксенофонтову нечего было возразить.

По насту

Рано утром в окно ко мне постучал Никанор Ерикеев.

— На козлов не желавшь сходить? Подморозило славно.

Сон отлетел мигом: еще бы, такой упустить случай. Вот уже и за околицей. Приятно всхрустывает снежок, шуршит пол лыжами, вызванная сталью. Кажется, что катишь по гулкому стеклянному мосту, который может обвалиться, и ухнешь тогда в бездну.

Полуночица мартовская луна дотлевала. Мы месились в ее жидком снегу, как цоцираки. Без разговоров Один за другим — цепочкой. Впереди — Васька Дюжок, широкий в плечах, с квадратным лицом парень. Он резко отталкивался палками, делая с каждым их взмахом упругий накатный рыжок, так что мы едва успевали за ним.

— Ну, скорюход, — восхищался Ерикеев — На Олимпийские бы игры лезь, Васька, всех обставишь за поживу.

Задубелая корка наста почти не оставляла следов, лишь кое-где виднелись излозметные царапины, оставленные копытами. Их-то и высматривал Дюжок. По тому, как уверенно он это делал, неловко было догадаться, что ему не верхней заниматься подобным.

Там, где заливные луга подступали близко к слякучу, на болотистом тальниковом перешейке Васька наконец обнаружил то, что искал. Точно края приделали к его лыжам, до того стремительно полнсовали они снег.

Видимо, услышав шум, козы поднялись и гуськом направились в сторону речки, по которой тянулась насаженная санная дорожка. Ею животные намеревались уйти от преследователей.

Приказав мне с Ерикеевым оцеплять табунок с флангов, Васька устремился вслед за козами. Животные передвигались осторожно. Как только они начинали топтаться, острыми копытами пробивали наст и по бреху тонули в снегу.

Всего их было семь. Последней шла молоденькая грациозная козочка с темным рюшешком по спине. Не догадываясь об опасности, перюголка озорливо под тыкнувала буйристым лбом старшую сестру. Но вот она

оглянулась, увидела Дюжого и в беспредельном ужасе рванулась на обгон табуна. Тотчас же увязла.

До речки оставались считанные десятки метров, будь козочка опытной, она бы сохранила прежний ритм движения... Увы, сигналы вожака остались без пользы. Первогодка ломилась напрапалую, погружалась в снег до ушей, едва выбравшись из него, снова тонула.

Табунок вступил на дорогу, и только его и видели, лишь козочка с темным ремешком по спине билась в предательской ловушке. Навсрнос, она кричала, я не слышал в беге. Спасти, во что бы то ни стало спасти! Сердце захлебывалось от внезапной нагрузки...

Дюжей к первогодке ближе... В руке нож... Сейчас безжалостная сталь полоснет по горлу, брызнет кровь... И свершилось...

Мы дрались с Дюжим лото, непримиримо. Едва разнял нас подъехавший Никанор.

С тех пор я не хожу больше за козами.

Вступление к жизни

Концертный зал — просторное поле с приткнувшимися к краю болотом. Солисты — все пернатые: трещат, свистят, крикают. В целом получается увертюра, то есть вступление. В данном случае — к чему?

Спросил семенящего у воды куличка. Даже головы не повернул длинноклювик. Обидела невниманием чайка. Пронизанная лучами солнца, она была удивительно прозрачна, казалось, что просматривается насквозь.

У ног моих кланялась, попискивала трясогузка. Спросил ее о том же... Трясогузка вежливая, говорить не умея, просила глазами о чем-то догадаться самому. Присмотрелся: птица не просто кланялась, рыла ямку для гнезда в песке, бегала за пупинками и перьями, чтобы сделать из них подстилку и отложить яйца, вывести в гнезде потомство.

Впереди еще немало хлопот. Будут трудности и тревоги, но пвинькает, радуется птичка: новые ведь трудности и тревоги. Пржннис канули невозвратно вместе с минувшей зимой.

Об этом ведали голоса пернатых. Они — вступление к открывающейся, доселе неизвестной жизни.



БЕНИАМИН БЕНИАМИНОВИЧ

КАПЛУН

родился в 1937 году. Окончил
высшейшей институт, овладел многими
профессиями. Почти двадцать лет работает
вагонным методом, в том числе
на территории Нижневуртовского района.
Автор поэтической книги «Васюганский
вагонник», неоднократно публиковался
в коллективных сборниках, во многих
московских и местных журналах и газетах.
Живет в Омске.

Глухари

Ушли наугад от чужих голосов.
Песню первую в дес за собой уводя,
Слушай немые
дремучих сосновых басов,
Майский лепет
и звон молодого дождя.
Не спеши влезать
из набухших сапог.
Для начала узнай, для начала найди.
Где опять глухариний заводится ток.
Через топи весенние молча пройди
С замиранием сердца на утренний зов
По последнему снегу на черную гарь.
Власть бунтующей крови
и чувства без слов
Открывает в момент бормотания
глухаря.
Чуду удали, смуте ли отданный —
пусть
Запоет только так,
как поет про свое,
Обнимал той песней
и Нерусь, и Русь:
Ты опустишь приклад,
не поднимешь ружье?
Токлявине,
Токлявину глух и незряч?
Если можешь дыши.
Если хочешь, смотри.

За синицу лаю журавля.
У свельицы кунаются дети,
Сонит наши дыривые сети,
А над ними шумят тополя.

* * *

Неприбранный, селой,
Больной и одинокий.
Прошедшее в упор
глядит из пол руки:
Струны своей не тронь,
локули нет тревоги.
Смотри, как по воде расходятся круги.
Не смотришься.
тогда займись другой работой:
Ниральшиком по лну,
в соломинку дыша.
Одна твоя беда,
одна твоя забота —
Поюная для всех
свободная луна.
Прислушайся к ней.
служи по доброй воле.
И не проси на хлеб,
марая и губя.
И ты уж не огни,
И ты уже не болел —
И не было и нет
счастья тебе.

* * *

Протавшая воюю и тривою.
Ты вся моя, пуская хоть неназолго.
Как старый луб и молодая елка,
Шумящие у нас над головой.
Над зонками орлиные круги.
А вот и солнце
над землей Приморской!
Тумана нет, и нет тайги ирмоэлой,
Лишь чистое дыхание реки.

Заказники дремучей тишины.
Парят орлы, вольны и величавы.
В изнеможенье павших на травы.
Двух наших душ крыла сопряжены.

* * *

Чистейшее писанье.
Простейшее житье.
Полярное сиянье.
Пахучее смолье
 В балке благоухает
 И сердце веселит,
 И дождь не утихает,
 И солнышко стоит.

Хорошая погода
В природе и в душе.
И вечно жить охота
На первом этаже,
 Где рыщет зверь, где птица
 Гнездо себе совет.
А если петь решится —
Поет, поет, поет.

* * *

Стоит январь на Васюгане —
Ни шелеста, ни ветерка.
Колю дрова для нашей бани
За нашего истопника —
Вот-вот наедут работяги,
Задубарившись слегка.
Кипит вода в огромном баке.
Проворно рыщет кочерга.
 Из юной пихты веник срублен.
 В парилке пар до потолка.
 На огнедышащие угли,
 Как порох, ветки сушняка.
На серебрящихся кедры
Плывут беслесье дымы.
Зима на нашем километре.
В сушилках — патники, пимы.

А вдоль балков — собольи тропы.
На провозах тесным тесно.
Там наши страстные робы
Скрыты и прелесть в тепло

Немигида

Гони, Виталья,
в магазин —
сегодня не летим.
Что наша жизнь —
как день один.
И тот — как этот дым,
что прилекрыл аэродром.
В каптерку — рюкзаки
ворта не будут.
булет ром!
В деревню, мужики, —
кубинский ром неспрашив.
У кассы насмерть стой.
Мороженые караси
нам жарятся в шестой.
И шум не будем понимать,
и дым до потолка.
Давай гитару понимать
и принимать слегка
морозный дым.
кубинский ром
и общежитский быг.
Все это вспомнится потом.
Ночная вахта спит,
нал нами спят,
пол нами спят,
а мы гулим слегка.
Но дело руж таких ребят
переживает века.
А мы такие, как один.
Скажи: «Давай!» —
дадим!
Гони, Виталья, в магазин —
сегодня не летим.

Сдельщик

Как зеленщик? Нет, он еще трезвей,
Перевалив за полосу запоя.
Лишь пот седьмой загульного отстоя
В кустах его поношенных бровей.

Он говорит: «Осталось мне чего?
Один стакан, грансный, безразмерный,
Еще станок токарно-револьверный.
Ведь баба-то осталась у того.

Видать, судьба... И ты не береди.
А у станка горой стоят детали.
С такой горой справиться едва ли.
Он говорит: «Ты утром приходи».

И к наждаку идет резны точить:
Все альфа, бета, гамма и омега,
Как научился сам за четверть века
На ощупь, без науки находить.

Зажал деталь, включил станок.
И вот — на свете нет граненого стакана,
Измены нет. Все чисто, без обмана —
Микрон в микрон сама гора идет.

Что происходит с ним — не передашь.
Не для леньги, не для Доски почета.
Верна ему Любимая — Работа.
Не подходи — работает алкаш.

* * *

Наждак, станок токарный,
Сверлилка да верстак.
Вагончик мой шикарный
Натоplen кое-как.

С утра в него набьется
Курящий люто люд.
Здесь задолго до солнца
Дела решать начнут.

Как сладить с черной топью?
Кому долбить ледок?
Откину поторку — хлопья
Полет наискосок.

Стемнеет понемножку,
Нурит со всех сторон,
Все светятся оконки —
Вперед летит вагон.

К вопросу всех вопросов
(Как раньше, как всегда)
Воссел за паровозом,
А паровоз — куда?..

* * *

Старый черновик. Всего три слова.
Вот они: «...Люби меня и жди».
И душа опять на все готова.
Столько лет!.. Пойми ее поodi.
Это время дальше, дальше, дальше...
Не продолжать

и не смочь дотла
Полстроки безмужских и фальшив?
Полстроки надежды и тепла!
И храню средь лучших своих строчек,
Среди самых правдашник из книг —
Самкий беззастенчивый листочек,
Самкий безнадлежащий черновик.

* * *

Что запомнилась?

Мало ли что,
Эта дрожь? Этот лепет? Не то.
Твои вилысы, тени у леск.
Под окном твоим розовый снег.
Ты читала на этом снегу,
Будто жить без тебя не могу.
Он растаял, умчала вода.
Исе, что нам рисовалось тогда.
Словно канули тысячи лет.
В этом доме давно тебя нет.
Я вчера постоял во дворе.

Старый двор ваш лежал в серебре.
Первый снег надо мною кружил.
А ведь я без тебя и не жил.
Ты уже на другом берегу...
Я все то же пишу на снегу.
Значит, ты эту надпись найдешь
И травой, и цветами прочтешь.

Старик

Сухую спину надсажат,
На ледяном встру стоит,
Худые саженцы сажая.
А у него радикулит.
Я в полвосьмого на работу —
Уж он все прутики полил.
Ужели только и заботы?
Как у него хватает сил?
В который раз он их сажает?
Залетя ради, доброты?..
Но может быть, он что-то знает,
Чего не знаем я и ты.

Память детства, сорок третий год

Госпиталь у нашего детсада.
На заборах раненые висли.
Вот еще — нам сахара не надо...
А девочки сахар этот грызли.
Костыли безжалостно скрипели.
В «мертвый час» мы к раненым лепились.
Каждый день здесь плакали и пели,
Опершись на нас, ходить учились.
Тросточки повыстрогав на память,
Научили нож держать как надо.
...Драмтеатр, девочка в панаме,
Госпиталь у нашего детсада.
Там была загадочнее сфинкса
Та, что в сердце мне навек запала,—
Пирамиды выстрадавших гипсов...
Это наша сила прибывала.

* * *

А ты предствь, предствь,
что живы наши дети
И время, время — вспять, а мы — ладонь в ладонь.
Свет горестной любви осветит все на свете.
И нам в последний раз горит ее огонь.
Возходим на костер Не врозь, восходим вместе,
С тобой, какой была (на плите, а тогда),
На ком сошелся свет
И только нашей песне
Сияет день и ночь счастливая звезда.
Три года и три дня, счастливая, сияла
И золотым дождем на землю пролилась.
Три года и три дня —
так много и так мало
В том месте до сих пор другая не зажглась.
И стало в окрестях темным-темно и пусто.
На золотой земле — противно все равно.
Нальем в последний раз и выпьем за искусство,
За то, что пережить нам больше не дано.
Моя щека твоей, заплаканной, коснется.
Рука моя твою, дрожащую, найдет.
Твоя слеза с моей уже не разминется.
Душа твоя с моей соплется и замерет.
На жизнь среди живых зва обреченных тела,
Священного огня утратившие суть?
Будь счастлива всегда!
Кому какое дело,
Любимей, чем была, и есть,
и будешь, — будь.

Оле

Я никого из вас не узнаю.

О. Радинская

Я вспоминаю каждую из вас
И каждого еще в лицо узнаю,
Каким бы хит ни выстроили с краю,
Какой бы ключ ни выбрали от рая,
Какой ни обрекли в иконостас.

Разрозненные птицы, нам кружить.
Дуи родственников, меньших сестер и братьев,
Не перечесть над этой водной гладью.
Скорбящий не обделит благодатью,
Когда придет черед еще одной души.
Что под водой? — Упешнее Вчера.
Что над водой? — Наивнос Сегодня,
Что благороднее и небезродней,
Кружит все обреченней, все свободней.
А Завтра расставляет номера.
Какой еще охотник и стрелок,
Воскресший или умерший в пустыне,
В разрозненных и веших целит ныне,
Прицениваясь к мрамору и глине,
Которых приручить никто не смог.
Все круче, все безжалостней оброк.
Пеллю строки затягивает рана.
Ввысь уходя от клина и тарана,
Разрозненным кружить над оксаном
Предначертал от них сокрытый Бог.

Катастрофа

Был смех глухой, а голос громкий.
Теперь загадочна, как все.
Еще не убраны обломки
На злополучной полосе.
Распустится твоя акация,
Не выдыхаются духи.
Еще лежат во всех релакциях
Твои нескладные стихи.
Проводит осень пестрым трауром
Ноябрь, последний месяц твой,
А мне звезду зажжет над тамбуром.
Я напишу тебе зимой,
Как дышит льдом двойная рама!
В снегу и крыша, и балкон.
На всех заборах слово «Мама»
Выводит дочь твоя мелком.



**СЕРГЕЙ АРТЕМОВИЧ
ЛУЩКИЙ**

родился на Украине в 1945 году. Окончил Литературный институт им. М. Горького. Рассказы и повести публиковал в журналах «Юность», «Октябрь», еженедельнике «Литературал Россия», других центральных и местных изданиях. Автор книги прозы «Длинь сууж, не считай дорожку». Переводился на язык украинский, арабский, аври (Афганистан). Живет в селе Водшедарово.

С утра до вечера

Рассказ

Часы показывали начало шестого, а окна уже обозначились. От их синевато-молочного света все в доме было видно. Это в ноябре-то месяце...

Вера Тимофеевна поднялась с постели, но, еще не дойдя до окна, поняла, что просто выдал снег, отлого и светло. И правда, огород был весь белый, по веткам абдоны сверху будто кто провел известкой... Вот и зима.

Можно было еще с полчаса полсжать, но Вера Тимофеевна знала — больше не заснет, а что бел толку каляться. Она нагнула поверх ночной рубашки старый истончившийся бала из байки и вышла в преддверок. За запявской всхрапнула свекровь.

Раньше шести в школе появляться не стоило — баба Поля, сторожиха, не любила, когда ее рано будили,— и Вера Тимофеевна зажала обе конфетки, на одну поставила чайник, а на другую большую закопченную кастрюлю с картошкой для казана.

По ногами тянуло. Она включила в кладовке свет, достала ваденки. Ваденки были старые, распотаннные, но для дома сойдут, Вера Тимофеевна с удовольствием сунула в них ноги. Стало уютно, и даже показалось, что слюманная нога не так поет. Вот, оказывается, почему ныла — к снегу...

Вера Тимофеевна попила чаю, убадила огонь под закипевшей картошкой и отелась.

Воздух во дворе был легкий, чистый и пахнул только что разрезанным арбузом. Вера Тимофеевна вышла

из калитки и переулками направилась к школе, оставляя четкие следы на нетронутом снегу. Снег она про себя пожалела — первый, растает. И сразу же обеспокоилась: опять крыша потечет. Неделю перед этим стояла сухая холодная погода, и Вера Тимофеевна хоть вздохнула свободней — всю осень только и знает, что новые банки на чердаке расставлять. И вот опять... Надо дранку менять, совсем стнила. Как избу поставили, так с тех пор и не меняли.

Проходя мимо единственного в поселке пятиэтажного дома, она по привычке посмотрела на окна квартиры на четвертом этаже, где жила дочь с семьей. Окна были темные. Значит, еще спят. Да и куда им торопиться, зятю на работу к восьми, а дочь может хоть весь день проваляться — с начала месяца в декрете. Мишку бы накормить не забыли...

От мысли о внуке тревожно сжалось сердце. Вот уберется в школе и заглянет к ним.

Сторожиха баба Поля, пржде чем открыть дверь, приложила из освещенного коридора к стеклу ладонь, всмотрелась, кто это стучит.

— Да я, баба Поля, я!

Сторожиха шелкнула замком и впустила.

— Я... — сказала она недовольно. — Вчера двое каких-то всю ночь вокруг околачивались. Говорила воснруку, выбрось ты эти свои ружья, а то еще порешат. Вон что вокруг творится-то...

Баба Поля — мрачноватая старуха с бородавкой на переносице, зимой и летом смуглая, похожая на цыганку. Чем-то она Вере Тимофеевне напоминала свскровь, хотя схожего между ними вродс было мало. Сторожиху побаивались не только ученики, но и молоденькие учительницы, присланные нелавно после училища.

Сегодня баба Поля, кажется, была в хорошем настроении. Выспалась, наверно. Она закрыла за Верой Тимофеевной дверь на ключ, торопливо запаркала следом и, догнав, ухватила за рукав.

— Пошли, чай у меня... Хороший, со слонном.

Обижать старуху не хотелось, и Вера Тимофеевна прошла за ней в каморку возле раздевалки, где обычно баба Поля коротала ночные часы. Воздух здесь был тяжелый. На тумбочке, что рядом с продавленным диваном, стояла пачка индийского чая с нарисованным синим слонном, на котором сидел боролатый человек в чалме и белых штанах.

Сторожиха достала из тумбочки стаканы, целлофановый пакет с сахаром принялась разливать заварку из маленького чайничка. А сама все ностальгически поглядывала на Веру Тимофеевну, собираясь, видимо, что то спросить.

— Выдохлась заварка, с вечера то хорошая была. Ниче, сейчас чайник закипит... Так ты говоришь, мать народила тебя в рубашке? Счастливая, значит, должна быть?

— Да вроде не жалуюсь, — сказала Вера Тимофеевна, удивившись такому разговору. — У меня не хуже, чем у людей.

— Ну да, счастливая! Сколько тебе годов-то? — вроде как бы обрадовалась баба Поля.

— Сорок шесть.

— Вот, молодая. А мужика нет. Такой смертью помер — хуже нельзя. Счастливая!..

Вера Тимофеевна ничего на это не сказала. Не сколько секунд посидела с неподвижным лицом. Потом молча поднялась и пошла к туалету возле туалетов, где хранились ведра и ведро со льняной.

Сторожиха ее не удерживала, будто и не сама только что зывала на чай. Было во всем виде ее что-то нехорошее, зловещее.

Муж у Веры Тимофеевны в самом деле умер рано. Тяжело умер. Точнее, погиб. Случилось это почти четыре года назад, когда дочь лежала в роддоме. Мотоцикл, на котором Вера Тимофеевна села с мужем посмотреть только что родившегося внука, сбив встречный грузовик. Шофер, сразу протрезвав, выскочил из машины, увидел ничком лежащую и недвижимую женщину в кювете и пытаясь ее приподнять мужичиной на обочине, быстро оглянувшись — дорога была пустынная — и решил, что живых свидетелей ему не нужно. Он развернул грузовик и направил на мужа Веры Тимофеевны. Проскакал по нему передними колесами, а потом собственными задними. И еще раз...

Его так и не нашли, этого зверя. В милиции случая ввязались вроде торчать, а потом все как-то само собой сошло на нет. Капитан, который вел дело, под конец так и сказал Вере Тимофеевне: «Что вы все ходите? Не воскресите у вас мужа, понимаете? Или дач надо кому-нибудь посадить обязательно?» Что тут скажешь? Соседи говорили, что заскочило или тятку сумели, или он просто лодыр, и советовали так это не остальять.

Вера Тимофеевна подумала-подумала. Мужа и в самом деле не воскресить. Так дело и закрыли, все ничем кончилось.

Но это потом. А сначала о смерти мужа ей долго не говорили. Она пришла в себя в больнице только на вторые сутки, у нее была разбита голова и нога оказалась сломанной. После двух операций дело понемногу пошло на поправку, но родные, навещая Веру Тимофеевну, говорили, что мужу куда легче, чем ей, — его, мол, даже в больницу везти не пришлось, дома отлежится. Все знали, что жили они с мужем хорошо.

Только перед выпиской врач посоветовала подготовить Веру Тимофеевну. В майский теплый день пришла дочь и, глядя испуганно, сказала, что отца нет, умер. Вера Тимофеевна не поверила, рассердилась, но дочь, положив ей на койку двухмесячного Мишку, достала из сумки похоронные фотографии. Вера Тимофеевна посмотрела на них и тихо заплакала.

Так и осталось в ее памяти: солнечный день после долгого ненастья, в открытое окно палаты заглядывают зеленые ветки — и эта вест, принесенная дочерью...

Сначала Вера Тимофеевна убрала коридоры. Прошла вскиком, а потом налила воды в ведро, бросила туда соды и хорошо протерла линолеум шваброй. Открыла фрамуги, и свежий, пахнувший снегом воздух хлынул в помещение.

Классы убирать не надо было, это делали после уроков ученики. Вера Тимофеевна перешла в спортзал. Здесь она включила полный свет и тоже сначала подмыла, а потом стала мыть дощатый крашенный пол. Доски от ребячьей беготни местами уже облупились, и мыть было не так легко, как в коридорах, но Вера Тимофеевна любила работать в спортзале. Простора здесь было, что ли, больше, света.

За работой понемногу сгладилась обида — недобрая все-таки она старуха, баба Поля, — и Вера Тимофеевна уже спокойно думала о муже, о детях, о себе.

Конечно, жлеть от жизни только хорошего, думать, что ты какая-то особенная — недаром в рубашке родилась, мать-покойница не раз об этом рассказывала, — а жизнь по-всякому поворачивается. Но если разобратся, то и несчастной себя назвать нельзя. Правда, с мужем такое случилось и дочь не очень радуется, зато о Боре, сыне, никто плохого не скажет. Серьезный, самостоятельный парень. Недавно командир части, где Боря

служит, прислал письмо — благодарит, что вырастила такого сына... Да и самой ей здорово повезло, могла ведь и вовсе не родиться, не жить. Мать-то в детушках родила — обманул ее соседский пареня, обманул жениться, а сам уехал из их мест, пропал с концами. Мать сколько раз подбивали сделать аборт, а она не захотела. Счастье? Конечно, счастье.

А что отним ей детства добрый, любил, как розную, разве не счастье? Вера Тимофеевна до сих пор без комка в горле не может вспомнить, как он пошил ей как-то красивые ботинки ко дню рождения — отчим немного сапожничал — и поставил на табуретке возле топчана, где она спала. Это ей-то, которую ребятишки в деревне дралили надувной, не принимали с собой играть. Она тогда встала с топчана и, забыв о робости, прижалась к его ноге, а отчим гладил ее голову большой своей ладошкой...

Что ни говори, было у нее в жизни хорошее. И сейчас один только внук сколько радости приносит.

За такими мыслями Вера Тимофеевна и не замечала, как убрался спортзал. Осталось протереть пыль, которой здесь всегда собиралось много — ребята на физкультуре бегают, в волейбол играют. Вера Тимофеевна сменила волу, тщательно прополоскала тряпку.

Нотариусы в спортзал, она заглянула в каморку возле раздевалки. Баба Поля все еще пила чай, лишь у нее было сердитое, будто пить чай заставляли против воли. Вера Тимофеевна только головой качнула.

— Ты счет-то экономь, нечего без толку жечь! Сама знаешь, сколько теперь платить приходится, — бросила оселе баба Поля.

Вера Тимофеевна протерла пыль в спортзале, потом еще вымыла туалеты и в начале девятого вышла из школы. Во дворе уже собирались ребятишки, но в помещение их баба Поля не пускала, отгоняла от двери — ждали, когда придет учителя.

На улице развевалось. Однако желтый свет еще горел в домах и на столбах центральной улицы поселка, по-старому именовавшейся Ленинской. Воздух был уютноватый и влажный, по всему чувствовалось, что снегу жечь недолго.

Подлизывая но сторонам и здороваясь с несчастными жителями, Вера Тимофеевна направилась к пятиэтажному дому, где жила дочь. Тропинки были уже протоптаны, а возле школы ребятишки успели их даже накатать.

Дверь открыла дочь.

— Это ты... — Нсуклюжс, громоздко повернувшись, дочь прошла в комнату, тяжело опустилась на неубранную постель перед работающим телевизором, откуда, видимо, только что поднялась.

Вера Тимофеевна разделась и заглянула на кухню. Так и есть! На столе грязные тарелки, пустая бутылка из-под водки, куски черствого хлеба валяются. Мишка, внук, стоял у окна на стуле, смотрел на улицу и ел один из кусков, зажав его в кулаке.

— Баба! — радостно закричал он, увидев Веру Тимофеевну. Торопливо слез со стула и бросился к ней, не выпуская из рук хлеба. Майка на нем выбилась, колготки были с дырой на коленке.

— Валя, вы ели? — Вера Тимофеевна взяла внука на руки.

— Не хочется что-то, — не поворачивая головы от телевизора, вяло отвстила дочь. — Мам, у нас двойняшки в роду были?

Вера Тимофеевна хотела сказать, что о двойне в их роду она не слышала, а пот в рубашке родятся, но вспомнила бабу Полю и промолчала. Она взяла на кухне за горлышко пустую бутылку и спросила, показывая ее дочери:

— Опять?

Дочь скучно взглянула на бутылку.

— Не я это — Толька... Мам, я двойню рожу, наверно. Не хочется...

Зять Анатолий работал в совхозе на «Беларуси», частенько калымил — кому что подвезет, кому огород вспашет, бензин продаст, — деньги у него и кроме зарплаты водились. Чуть ли не каждый вечер молодые у себя в комнате за перегородкой выпивали. А ночью спали так, что не добудишься. Однажды трехмесячный Мишка полчаса надрывался, а они не слышали. Вера Тимофеевна не выдержала, встала, добралась на костылях — нога была еще в гипсе — до их комнаты, а вот как ребенка к себе перенести? Молодых будить не захотела — они, раскидавшись, были в таком виде, что самой смотреть неловко и их в краску вгонишь. Кое-как Вера Тимофеевна взяла Мишку на одну руку, для надежности ухватила зубами за пеленку и поковыляла к себе. А когда опустила внука на постель — заплакала. Что, если бы уронила по дороге или на него упала?..

— Валь, нельзя тебе. На ребенке скажется, — укорила

Вера Тимофеевна. — Каким ролится? И сейчас, гляди, во что превратилась. Миша вон искожмеленый, сухой хлеб ест. И дорогая теперь водка, лучше бы килбасы купила.

— Килбаса, что ли, дешевле? — вяло отгизнулась дочь. В глаза она не смотрела. Ее отекал, в пигментных пятнах лицо было безразличным, несчастье волосы падали на лоб.

Вера Тимофеевна вздохнула. И не сказать нельзя, и считать совсемно — вилкая женщина. Да и неетко ей сейчас. Вера Тимофеевна по себе знала, как даются последние недели беременности.

— Вот что. Собери-ка грязное белье, постираю, — сказала она. — Только быстро, у меня картошка на газе стоит.

Черноглазый, в дева, Мишка понял, что бабушка собирается уходить, и шпакливо заикнул:

— Ба-а-ба, я в гости очу-у...

— Ладно уж, подем, — сказала Вера Тимофеевна.

Она не могла смотреть на внука без заатаино-счастливой улыбки. Сама принялась его одевать в коридорнике, где висела Минкина одежда.

Белья набралось много, большой узел. Вера Тимофеевна взяла его у дочери, прилазив коленом, покрепче загнула.

— Мам...

Вера Тимофеевна позияла глаза. Валя смотрела на нее и ничего не говорил.

— Ну?

— Пусть Мишка поживет у тебя. Хоть до весны...

Вера Тимофеевна ничего на это не сказала. Надежа на внука пильно, водичисала ремешком и, уже открыв дверь, в сердцах спросила:

— Это чтобы вам пить никто не мешал? Так, что ли?

Дочь смотрела на нее и молчала. Вздернутый на большом животе чалат открывал откшкин ноги с голу-быми жилами.

Примеривая внука за ворот пальто одной рукой, а второй ухватив уел с бежем, Вера Тимофеевна медленно спускалась по лестнице. Настроение было испорчено. Разве она против, чтобы Мишка пожил у нее, будь все нормально? Сейчас у дочери хоть какая то забота и ответственность, а если забрать внука, она ведь за молдую воду не вельнется. И так в квартире грязи по колению, чалат постирать не может — весь в пятнах

на животе. Беззаботная, вся в свою бабушку, свекровь Веры Тимофеевны. Той тоже хоть трава не расти. А водка! Другая удерживала бы мужа, а эта готова наравне пить. Беременная-то!..

В переулке, заметив накатанную дорожку, впук вырвал у Веры Тимофеевны свою руку и бросился вперед. Ему еще не было четырех лет, но бежал он уверенно, быстро, а когда покатился по глянцево отсвечивающей дорожке, ноги в меховых сапожках расставил твердо и ловко. Мужичок...

У Веры Тимофеевны дрогнуло сердце от нежности. И ухватками своими, и черными глазами внук напоминал ей мужа. Его и Мишей в честь деда назвали...

Свекрови дома не оказалось. Хорошо еще, что газ под картошкой догадалась выключить. Не раздвываясь, Вера Тимофеевна принялась мять картошку, в теплое месиво добавила отрубей и, вдыхая сытный пресный запах, понесла кастрюлю в сарайчик — кабан, утратив всякую солидность, голосил так, что было слышно за несколько домов.

— Сейчас, сейчас... — Вера Тимофеевна поставила кастрюлю на снег, открыла висячий замок и, перегибаясь через загородку, вывалила месиво в таз.

Кабан, удовлетворенно, низким басом похрюкивая, ткнулся в еду. Стоять ему было уже тяжело, и он, опустившись на задние ноги, пробовал есть сидя. Вера Тимофеевна похлопала его по твердому налитому загривку, поросшему белесой жесткой щетиной, потормошила. Кабан даже не шелохнулся. Килограммов под сто пятьдесят весит. К Новому году можно будет колоть.

Потом Вера Тимофеевна затопила печь, накормила Мишку и поставила греть воду, чтобы замочить белье. Беспокоила крыша. Вера Тимофеевна приставила лестницу и поднялась на чердак. Здесь пахло пылью и стоялым воздухом, сквозь слуховое окно проникал слабый свет. Вера Тимофеевна обошла чердак, заглядывая в жестянки, густо расставленные в местах, где крыша протскала. Жестянки были пока сухие.

Надо, надо дом перекрывать, почти двадцать лет dranке, сгнила. Купить бы к Бориному приходу из армии шифера, а Боря бы перекрыл. Нужны деньги, а где их взять? Было кое-что на книжке — до аварии работала дояркой, получала хорошо, — но все отдала молодым на обстановку, когда те получили квартиру. И правильно — чего бы сейчас стоили те ее четыре тысячи?..

Разве что у свекрови занять? Она в прошлом году свой дом продала. И собрала, сразу взяла в магазине на все деньги золотых часов — из-за пороговницы они тогдами нылились на бирине. Но что за дуроговница по сравнению с ныншей... Так что деньги у свекрови не пропали — в любой момент может отъезти часы в город, сдать в комиссионный. Купить, богатые люди сейчас селя, все скотко их по телевизору показывают.

Как хорошо было бы! Боря в мае вернется, а летом дом перекрыть можно. Не хочется, придется у свекрови просить ваймы, иначе шифер не куить. Надо с ней сегодня поговорить.

Когда самое необходимое по хозяйству было сделано, Вера Тимофеевна села за машинку — закончить юбку для сватьи, матери Анатолия. Давно пора отплатить, обещала.

Она шила, время от времени полишивая во двор, где внук сначала делал снежную бабу, а потом принялся бросаться снежками в бонзливо ступающих по снегу кур. Из головы не выходила мысль о дочери. Тоже надо что-то сделать. Сопьются ведь оба, дочь и Анатолий, от легкой стыдно.

Под стрекот машинки мысли текли свободно, и Вера Тимофеевна подумалась о том, что как все-таки странно в жизни бывает. Вера и Боря, брат и сестра, от одной отца и матери, а разные. Дочь пошла характером в свекровь, а сын — в мужа и в свекра, те тоже были рассудительными и добрыми. Когда свекор, например, замстил, что всю работу по хозяйству свекровь на нее, с двумя маленькими детьми, свалила — сказал Минис, чтобы начал строиться. Он, отец, поможет. А свекровь и в самом деле не по что денника, а какая-то беззаботная и ко всему безразличная. Непонятно, как хозяйственный свекор терпел ее. Могла забыть скотину накормить или замочит белье, поставит в угол за дверь и вспомнит о нем тогда, когда вонь по избе пойдет.

Как-то Вера Тимофеевна — было ей тогда немногим за двадцать — пошла в райцентр за хлебом. Это тула семь километров и оттуда семь, автобусы в ту пору еще не ходили. Вернулась уставшая, ноги мокрые — как раз была осень. Заходит в избу, а там рев в два голоса. Дети сидят в кроватке, ноги вниз ступени, рючонками за прутья держатся, глаза от слез опухли. А свекрови хоть бы что, устроилась возле окна и картинки в «Отонке» рассматривает. Это у нее любимое занятие, картинки

в журналах смотреть, до сих пор любит. Вера Тимофеевна остановилась у порога и не знает, за что первосхвататься: то ли детей успокаивать, то ли мокрые сапоги снимать, то ли печь растапливать — время к обеду, вот-вот свекор с Мишей придут, а свекрови до этого словно и дела нет. Смех и горе.

Главное, что и помочь было некому. Замуж Вера Тимофеевна вышла не в своей деревне, а познакомилась с будущим мужем на строительстве металлургического комбината в Казахстане, куда поехала по комсомольской путевке — молодая была, нового хотелось. Парней там оказалось много, а их, девчат, мало, так что от ухажеров отбоя не было. Но с Мишей у нее как-то быстро и хорошо получилось — почувствовали они, что ли, сразу друг друга — слюбились, как говорили у них в деревне. Расписались через две недели. Потом Миша увез ее к себе на родину, он болеть в Казахстане стал — там летом жара под сорок, а у него сердце оказалось слабым. Присхали в этот поселок, где Мишины родители жили. Конечно, пришлось мириться, не у родной матери живешь. Все самой приходилось делать. Ну да ничего, к работе ей было не привыкать — в семье она старшая, кроме нее у матери еще трое детей от отчима родилось, так что забот с ними хватало. И сам отчим без ноги — на фронте оторвало, — не всякую мужскую работу мог делать, что-то и ей с матерью приходилось. В общем, к работе была приучена, справлялась и у свекрови. Зато с Мишей у них все хорошо было, это давало силы. Любили друг друга так, будто только что поженились, а сами уже не первый год жили. Миша, Миша, что ж хорошим людям век короткий?..

Мягко стучит машинка, бежит из-под лапки строчка. Хорошая юбка получается, сватья останется довольна. А может, с ней поговорить, пусть подействует на Анатолия? Сватья авторитетная, в семье ее слушаются. Раньше Вера Тимофеевна работала вместе с ней на ферме. Так сыновья все время приходили помогать, Анатолий тоже. Взрослые парни, а что мать скажет, то и делают: за коровами уберут, силос по кормушкам разбросают, а его запах терпеть тоже нужна выдержка, особенно молодому. Точно, надо с ней поговорить. И случай удобный будет, когда сватья за юбкой придет.

От решения поговорить с матерью Анатолия Вера Тимофеевна стало даже как-то радостно. Будто все уже налажилось — зять и сам пить бросил, и Ваде не разре-

шаги... Ей до того захотелось увидеть святюю, что она, быстро закончив юбки, не стала дожидаться, когда та за ней зайдет, а завернула обноу в газету и торопливо пошла. Сама отнесет.

Но дворе она позвала Минку и пошла вместе с ним по хорошо знакомой дороге за поселок, к ферме. Снег под ногами уже потемнел, был влажен и пошллив. Вера Тимофеевна опять с беспокойством подумала о протекающей крыше.

Святюю она застала за мытьем билония. Сухопарая, резкая, святюя окатывала билония горячей водой из шланга и, засунув внутрь руку по плечо, быстро пердит тряпкой. Лицо и руки у нее были красными, от билония выли пар. Все у святюя вышло споро и ловко.

— Ты про Линолада своего знаешь? — закричала она, увидев Веру Тимофеевну. Святюя всегда так разговаривала, криком. — Если на мой характер, выгнала б такую! Подумай, четверо золотых часов на церковь отдала, мать сказала, вместе они в Егоршино ходили — не знаешь, что ли?

Вера Тимофеевна сразу не поняла.

— Какой дуноход?... Потом спохватилась: — Ты про свекровь мою?

— А то чью?

Свекровь в поселке прозвали Линоходом и то, что она любила ходить по окрестным деревням и часто ездила в райцентр. Что ее гоняло — сказать трудно, но после того, как свекровь продала свой дом и перешла жить к Вере Тимофеевне, дни не было, чтобы она идею бы не прогадала. Соседям говорила, что родню навешает.

— На церковь отдала?..

— Турнула бы в нсю, ни минуты не думала! — кричала святюя, выливая воду из билония в цементный сток. Мутная вода дымилась и стремительным потоком катилась вниз. — Она у тебя сколько живет, а хоть рубль дала? Не видишь, тебе тяжело — не на ферме ты, школу убираешь, а как там платят, известно! В Егоршино, ту-неядцу тому — в рай захотела, дура старая!..

Святюя разгорячилось выпрямилась, лицо у нее было злое, от красных рук шел пар.

— Раньше погов ругали, смеялись только так, а сейчас все верюшники зашевелились! По телевизору показывают, по радио выступают, готовы задницы понам целовать. Тыфу, придурки!..

Вера Тимофеевна зачем-то потерла ладонью газету, в которую была завернута сватья юбка, посмотрела вниз, на цементный пол коровника. Вот и нашла деньги на шифер, вот и починила крышу...

— Ладно, Зоя,— сказала она.— Часы ее, пусть сама распоряжается.

— Как ладно, Вера?! Удивляюсь я на тебя! Никто из детей брать к себе не хочет, так она невестке на шею села! Старшие дочери ее не хотят, а живут дай бог. Знают свою мамочку! Или не понимаешь? Ты что такая? Как с луны свалилась, честное слово!..

Вере Тимофеевне говорить об этом не хотелось.

— Посмотри.— Она протянула сватье сверток с юбкой.— Пошила, как ты хотела.

Сватья перестала кричать, вытерла мокрые руки и осторожно приняла сверток. Она развернула юбку, приложила ее к себе, стараясь не касаться халата, в котором работала. А Вера Тимофеевна, видя ее изменившееся, ставшее довольным лицо, заговорила о главном, что не давало покоя,— о дочери и зяте.

Сватья выслушала ее, а потом, заворачивая юбку опять в газету, пообещала:

— Будь спокойна, я с ним поговорю! Я ему растолкую. Он у меня дорогу в магазин забудет!..

Столько было в ее голосе твердости, что Вере Тимофеевне и спокойней, и в то же время боязно стало — достанется Анатолию... Помогло бы вот только.

Вскоре она уже шагала от фермы обратно, поглядывая, чтобы Мишка не отстал и не влез в коровьи лещи, думала о сватье. Сватья, она такая — если что решит, обязательно добьется. Случай был, ее младшего и Борю призывали в одно время. Вера Тимофеевна постеснялась пойти к военному просить, чтобы Борю отпустили служить куда-нибудь недалеко — оказывается, есть такое положение, сейчас это можно. А сватья ничего, пошла, упрасивала, ругалась, а настояла-таки на своем. Они с мужем уже два раза к сыну ездили, он в соседней области служит. Боре бы так... Он-то попал в десантные войска. Когда приезжал в отпуск — в синем берете, в тужурке, из-под которой выглядывает тельняшка, золотистый шнур от плеча,— красиво, ничего не скажешь. Даже если бы и не сын, приятно пройти с таким по улице. Плохо другое. Десант сейчас во все горячие точки суют. А точек этих...

Не дай Бог, не дай Бог!

К обеду обычно начинаст раскалываться голова — являри даром не прошла. Боль распирает череп, с вязкой мучительной силой давит на глаза, заставляет где-нибудь прилечь и раскалываться со стороны в сторону — так вроде легче становится. Таблетки ничего не дают, сколько их Вера Тимофеевна перебила. Кажется, пыгеси в это зремя все из лому, ее саму убей — она пальцем не пошевелиит. Все ей делалось безразличным, ни на что сил и желаниа не было. Так что надо успеть до обеда главнык хэде переделать, а то потом не до того будет.

Вера Тимофеевна убралась в доме, разогрела вчерашний суп, накормила вюка и сама с ним поела. Чувствую, как начинаст полыхать и ломить в том месте на голове, где делали операцию, она помыла посуду, замешала болтанку кабаны и почесал в сарайчик.

Кабан ее встретил утробным ленивым похрюкиванием — наверно, еще не успел проголодаться. Он сидел посередине ставшего ему тесным закута и смотрел из темноты по-звериному съезжающимися креслами глазками.

— Вставай, вставай! — сказала Вера Тимофеевна, прохиди к нему в закут. И толкнула ногой, стояя с места.

Она вылила тинку и принялась сгребать навоз к стоку. Потроженный кабан недовольно похрюкивал, но и недовольство его было ленивым. Будто запялю, как он сам, жиром.

Вера Тимофеевна бросила ему на подстилку свежей соломы и, глядя на тяжелые тавкасиа бальной белесой туши, опять ищумала, что к Новому году капана можно будет колоть. Вол и денги на шифер! На всю крышу не хватит, но все же. Мясо продает, его в момент расхватют, если цену не заламывать, и сало тоже. Конечно, самой мало что останется и Валиной семье меньше дать придется, ну да что делать. Все же выход. Кришу перекрыть обязательно надо. Хотя бы там, где течет.

Пора было укладывать Минку спать. Вера Тимофеевна вылила болтанку кабаны в таз, закрыла сарайчик и вернулась в дом.

Михрюкка! — позвала она.

Вюк где то затаялся и не отвечал.

— И где же это наш парен? — громко сказала Вера Тимофеевна и стала холить по избе, везде заглядывать. Она догадалась, что вюк спрягася за занпеской, где стоиат свекровина кровать, но вида не полавала. — Куда это наш парень запропастился? Может, штане укрели? Да что мы без Михрюкки делать-то будем?

Внук не отзывался. Вера Тимофеевна представила его затаившуюся хитрую мордашку и не выдержала, отбросила занавеску. И от того, что увидела, екнуло сердце.

Мишка и не думал прятаться, он увлеченно рассматривал картинки в журналах, которые лежали на табурете возле кровати свекрови.

Вера Тимофеевна тут же упрекнула себя — ребенок, ему интересно. Рано пугаться. Она взяла внука на руки и отнесла на свою постель. Раздела, уложила и сама рядом прилегла. Может, голова пройдет, сильнее не разболится.

Мишка немного покапризничал, но уснул быстро. Вера Тимофеевна тоже задремала.

И за недолгие минуты дремы ей представилось лето, она на высокой лестнице где-то в саду рвет пижмы; пижмы темные, глянцевые, вот-вот брызнут соком, а на ветках яркие пятаяки солнца. Ее окликают с земли, она смотрит вниз и сквозь листья видит мужа. «Так он не умр!» — думает Вера Тимофеевна то ли во сне, то ли наяву и быстро спускается по лестнице, радостно торопится вниз. Лицо у мужа серьезное, он смотрит на нее, подняв голову. Вот Вера Тимофеевна уже чувствует на своем теле его руки. У нее обморочно, сладко замирает внутри, но она почему-то знает, что в саду они не одни, кто-то здесь есть еще, и потому говорит: «Ты что, подожди...» Он ждать не хочет, увлекает в дошатаый домик на колесах — они уже вроде не в саду, а где-то на полевом стане, домик стоит посреди примятой стерни, — муж крепко и нежно прижимает ее к себе, целует в губы, знакомо гладит везде руками...

Вера Тимофеевна просыпается, она дрожит, во всем теле слабость. Несколько минут лежит неподвижно, слезы текут у нее из глаз, скатываются на подушку. Родной мой, ну что же так случилось с нами, за что?..

Плачет она тихо, стараясь не разбудить внука.

Постепенно обиды и горечь, как все в этой жизни, проходят, их вытесняют будничные беспокоящие мысли. Пока внук спит, надо пойти в школу, убрать два первых класса. Уроки у первоклашек уже закончились, а классы убирать сами, как это делают ребята постарше, они пока не могут. Убирает Вера Тимофеевна, убирает днем после уроков, чтобы на следующее утро не тратить на это время.

Осторожно ступая по половицам, она одевается и, выйдя на крыльцо, мягко щелкает замком. Лишь бы Мишка в ее отсутствие не проснулся и не испугался, что один.

У калитки ее поджидает радость. Еще издали сквозь дырки в ящике для газет видит она синий конверт — в таких обычно приходят письма от сына. Вера Тимофеевна торопится, ставшими пеловками пальцами открывает дверцу жестяного ящичка и достает письмо.

— Борн!

Она прячет письмо во внутренний карман старенького пальто и на легких от счастья нотах идет к школе. Сейчас читать не будет — пилоти. Сейчас ей достаточного того, что письмо есть, вот оно, на груди.

Возле школы происходит что-то неладное. Слишком злые крики бабы Поли, она метется по асфальтированному гытатчку перя школьными дьярмами и пробует ухватить увертывающихся от нее мальчишек то ли из шестого, то ли из седьмого классов.

Пашаны ее не боятся, даянтятся, но близко к себе полупускать все же острагаются, а один, слепив из мокрого снега ком, запускает бабе Поле в спину. Сторожи ха стеревет. Сейчас она похожа на одряхлевшую хищную птину, исколяющую боссильной злобой.

— Сучьи дети! Бастрюки! — кричит она, и кажется, что с ее тонких старушечьих губ вот-вот брызнет шена.

— Ребята, ну хорошо ли? — громко говорит Вера Тимофеевна и останавливается посреди озлобленной суеты. Ей тяжело на все это смотреть. — Старый человек, что вы с ней так? Разве можно?..

— А что она за уши дерется? Мы не мешали, играли в снежки, а она лезет! — то ли с вызовом, то ли с обидой кричит, ребята, отбежав на безопасное расстояние от тяжело дышащей открытым ртом бабы Поли. Ребята выдают в Вере Тимофеевне взрослого постороннего человека, способного справедливо рассудить.

— Ну так отойдите от школы, стекла может лопнуть. Она потому и ругается. Что на спортплощадку не пойти — там сколько угодно бросайте, никто слова не скажет.

Мальчишки несколько секунд соображают, а потом один за другим тянутся за школу. На прощание некоторые из них строят бабе Поле рожи, отчетливо слышат по детски трусоватый матерок.

Уходит и баба Поля. Под вытянувшейся старой кофтой видны худые лопатки, сама кофта на локтях кое-как, по-старушечьи заштопана, и Вере Тимофеевне становится жаль сторожуху. Жаль еще и потому, что нельзя жить так, как она живет. Зла и горя без того много, зачем их еще добавлять?..

Она вздохаст и тоже направляется к школьному крыльцу.

Вымыв пол у первоклашек, она на всякий случай толкнула дверь школьной мастерской — здесь ее тоже иногда просили убратсья,— ей никто не открыл. Но голоса в мастерской слышались явственно. Вера Тимофеевна уже готова была уйти — мало ли почсму дверь заперта,— как стукнула задвижка и появился Валерий Геннадьевич. Военрук быстро глянул по коридору в одну, потом в другую сторону и потянул Веру Тимофеевну за руку.

— Заходи, хозяйка! Ты всегда кстати, заходи!..

Ничего не подозревая, она вошла и услышала, как шелкнула за спиной задвижка. В углу за столом мастера сидел Юрий Сергеевич, молодой учитель русского языка и литературы. На столе перед ним видна была небогатая, мужской рукой сдланная закуска и стояли два стакана. Вид у Юрия Сергеевича был смущенный.

— Сались, хозяйка, садись! Ты извини, мы здесь бизнес наш спрыскиваем. Ну, с телефонами, знаешь. Нехорошо, конечно, понимаю и каюсь — в школе распивасм и так далее, но...— Военрук выудил из-за стола бутылку с остатками водки, громыхнув выдвижным ящиком, достал третий стакан. Раскаяния в его голосе что-то не чувствовалось.— Да оставь ты свое ведро, садись! Положено! Если б не ты, в грязи утонули!..

Вера Тимофеевна не знала, что делать. И отказываться неудобно — все-таки от всей души человек, а с другой стороны — в школе. Действительно, нехорошо. Да и Мишка должен проснуться.

Валерий Геннадьевич забрал у нее из рук ведро и швабру, почти силой усадил за стол.

— Ты не беспокойся, директора нет, уехала в район, коллективную пьянку не припишет. Мы недолго, сейчас разбежимся. Юрию Сергеевичу еще сочинсния проверять надо. Как там, Юрий Сергеевич, тема звучит? Образ русского человека, страстотерпца и богосца?..

Хотя Вера Тимофеевна и чувствовала себя не в своей

гарелке, но все же удивленно глянуло на военрука, потом на учителя литературы. В словах Валерия Геннадьевича слышалась ирония. Но Юрий Сергеевич никак на подковырку не прореагировал. Разве что раза два быстро провел рукой по своей молодой, даже из виду мочковатой бороде. Рука у Юрия Сергеевича была белая, нежная, ни у кого из поселковых Вера Тимофеевна таких рук не видела.

Сказать по правде, Юрий Сергеевич ей всегда нравился. Своим благообразным, с бородкой, лицом, вежливостью, негромким голосом. Жаль только, что такие учителя долго в школе не задерживались. Не приживались почему-то в поселке. Положенные три года отработывали и уезжали обратно к себе в город.

На первый взгляд даже трудно понять, что объединило Юрия Сергеевича с военруком. Валерий Геннадьевич погнулся в школе недавно, в начале учебного года, а до этого служил в армии, был капитаном. Уважительный, веселый, всех в школе звал на ты, даже директора — совсем разные с Юрием Сергеевичем люди. Быстро наладил в школьной мастерской сборку телефонов, за деталями для них выезжал в областной центр. Любил повторять: «Крунисья надо, пахать, а не ябля высжиивать! Напор и энергия!» Вера Тимофеевна слышала, что уже появились первые деньги, работам за работу в мастерских стали платить. Что ж, дай Бог, жизнь сейчас у всех тяжеля.

А в общем-то, понятно, что их объединяет. Двое в школе мужчины — остальные учителя женщины. Они вдвоем и уроки труда ведут, и физкультуры, и рисования с черчением, а теперь еще этими телефонами вместе занимаются.

— Страстолюбив и богоносец, верно себя и понял? — военрук, поглядев на Юрия Сергеевича, весело смотрел на него. До прихода Веры Тимофеевны у них, похоже, шел какой-то свой разговор, может быть, спор. — Кроткий и многостерзливый, говоришь? Интересно, интересно! Похвальные качества, уважаю таких людей. Вот только объясни мне одну вещь, Юра. Что ж такие люди все время в дураках остаются? А? Объясни, дорогая!

Юрий Сергеевич молчал, улыбался, крутил в руках стакан с водкой на доннышке. Потом поднял почему-то глаза на Веру Тимофеевну, тихо сказал:

— За вас. Будьте здоровы и счастливы.

Вера Тимофеевна покраснела от удовольствия. Молодой, а знает, как к человеку подойти. Вслед за мужчинами она пригубила свой стакан.

— Не уходи от ответа, Юра, не уходи! Ты джентльмен, видим и ценим, но как же главное? — Валерий Геннадьевич подхватил со стола ломтик неровно нарезанной колбасы, принялся энергично жевать. — Ты мне ответь, дорогой! А то ведь странные догадки приходят в голову. Не специально ли кротость культивируется? Зри в корень, как учили классики марксизма-ленинизма. Вам кротость и смирение, а мы по другим правилам будем играть, нам смирение как-то вроде и ни к чему! Стричь вас будем, а вы нас за это благодарите. Неплохо придумано, а?!

Юрий Сергеевич поморщился, опять опустил глаза.

— Пошло, Валера.

— Э, не-е-т! — загорелся военрук. — Не-е-т, дорогой! Ты на землю спустишь, теория практикой проверяется!.. Возьми мой случай. Выпсри из армии, а у меня трое детей и квартиры нст. Пенсии, заметь, не положено. Мне до нсс как медному котелку... Хорошо, мать приняла, к ней семью привез. Черт с ними, я не жалею, на гражданке интересней, если не лентяй и голова на плечах. Не в этом дело! По твоей логике, мне отщам-командирам, начиная с Ельцина, еще и в ножки поклониться? За то, что, как собаке, дали под зад коленом, так?.. Очень уж им удобно, Юра, когда человек безответный. Делай, что хочешь, он стерпит. Ну уж нет, извините!..

Юрий Сергеевич сдержанно поглядывал на военрука.

— Прости, Валера, как-то странно у тебя выходит, — наконец сказал он своим негромким голосом. — Есть еще духовные ценности. Люди ради них на крест шли...

— Кто же против! — даже всплеснул руками военрук. — О другом я! О человеческой подлости. О великой человеческой подлости! Самое лучшее поворачивают так, чтобы выгода была. Ну не скотство, а? Что за страна у нас такая! Почему нельзя с людьми по-человечески? Ну что все экспериментировать? Большевики экспериментировали, эти пришли — опять! Снова за идиотов нас принимают!.. — Валерий Геннадьевич вдруг замолчал и уперся взглядом в Веру Тимофеевну. — Твое мнение, Тимофеевна? Скажи, как считаешь?

Вера Тимофеевна совсем уж собралась было взять ломтик колбасы — очнь заманчиво она пахла, — но при словах военрука опустила опять на колени руку.

Петовко брат, когда не тебя смотрит. Идти надо. У мужчин свои разговоры, а у нее еще дел полно. Хороший человек военрук. Если у Бори такие командиры, то и общу не дадут. После того, как сами привали в армяно, она с особым вниманием присматривалась к каждому военному.

И все же Юрий Сергеевич лучше! Ближе как-то, что ли. Свой, хотя и из города.

— Ну, спасибо вам. Найдю, внук закрытый сидит. Испугается.

— Эх, Тимофеевна, покидаешь нас! — расстроился уже заметно замилевший военрук. Он достал пригоршню жвачек в красивых обертках. — Бери, внучу! И тебе будет. С декабря думаю платить за уборку. Отдельно! А что? Помнишь, стили такие учили: каждый труд у нас почетен, где какой ни есть... Русский человек не скотина! Это вы бросьте!.

Юрий Сергеевич с улыбкой, снисходительно смотрел на военрука. Так и не выпитая: водка колыхалась в его стакане.

Вечером наступает ее лучший час. Постирано и развешано дочкино белье, наколмен, уложен спать Мишка, в доме спокойно и тихо, и даже голоза не так болит, как обычно по вечерам. Может, потому, что погода переменяется. Или от радости, что сын письмо прислал.

Всю вторую половину дня в душе у Веры Тимофеевны будто веселый роликчик играет. Она не терпитесь читать Борино письмо, и от хорошего предчувствия вперед дела у нее делаются быстро и легко.

Но вот наконец вечер, все дневные заботы позади, можно сесть и почитать. Вера Тимофеевна движается, когда у себя за занавеской отщепнет молитву и уляжется спать. Недавно откуза то вернувшаяся сзекровь, и идет в приледок. Даже программу «Вести» не смотрит, хотя обычно не пропускает, — ловит каждое сообщение, где говорится об армии, о горечих точках.

Она достает письмо и аккуратно, осторожно вскрывает конверт. Прислонившись спиной к теплой от печки стене, разворачивает двойной листок из тетради в клетку. Глаза ее бегают по строчкам, губы улыбаются.

Бори пишет, что служба у него идет нормально, он жив и здоров. Правда, их часть перебросили на новое место, и он никак не может привыкнуть к здешнему климату — концу октября, а жарко, будто летом. Дома,

наверно, вот-вот снег выпадет, а здесь деревья в долинах зеленые, снег только на вершинах гор. Ничего, через семь месяцев дембель, не так уж много...

Вера Тимофеевна будто наяву видит серьезное лицо своего Бори, взрослую поперечную морщинку на лбу и пухлые, совсем ребячьи губы. Она еще раз перечитывает письмо, но уже медленно, стараясь не пропустить не единой буковки. Потом опускает руку с письмом, долго стоит, прислонившись спиной к теплой стенке. Ей хорошо и покойно.

Только сейчас она чувствует, как устала за день. Выходит в коридор, задвигает на дверях засов. В коридоре холодно, слышно, как бьется в стены дома ветер. Наверно, тучи пагонит, дождь будет. Не забыть бы завтра воду из банок на чердаке слить... Вера Тимофеевна возвращается в приделок, выключает свет, идет на опушку в избу и раздевается.

На постели сонно дышит Мишка. Вера Тимофеевна, подвинув его к стенке, ложится рядом. Она обнимает родное теплое тельце. В общем-то и хорошо, что внук у нее будет жить. И самой веселее, и дочери полгечше, что ни говори. Лишь бы за ум взялись...

Лежать рядом с Мишкой уютно. Вера Тимофеевна начинает ровно дышать. Сами собой закрываются глаза. На грани между сном и явью, как большая медленная рыба, проплывает мысль: «С Борей бы ничего не случилось. С Борей бы...»

Мысль беспокоит, сердце от нее тревожно вздрагивает, но сил уже нет, и Вера Тимофеевна засыпает.

Последнее, что она слышит, это порывы сильного ветра за окном.

Телефонограмма.

Михайловский райвоенкомат предлагает Федоровой В. Т. прибыть за телом ее сына Федорова Б. М., погибшего при исполнении воинского долга. Гроб с телом Федорова Б. М. находится в морге районной больницы. Часы работы морга с 9.00 до 18.00.

Передал дежурный по военкомату старший лейтенант Михеев.

*Приняла секретарь поселкового совета Гречнева.
10 ч. 35 мин. 8 декабря 1992 г.*



**ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
ЮРГЕНСОН**

родилась в Красноярском крае. Окончила факультет журналистики Томского государственного университета, ныне работает пресс-секретарем главы Мегионской администрации.
Литературным творчеством увлеклась в юности. Ее стихи публиковались в региональной периодике.
Живет в городе Мегионо.

* * *

Сотвори меня, Господи,
В чистой воде
Из ручья бесконечного и тишины.
Из рассветов весенних и холода,
Из ночной испрогяльности,
Света луны.

Сотвори меня, Господи,
Силой любви.
Сердцем булет огонь, а разумом — лед.
Я пойду по дороге, ведущей к Тебе.
Спотыкаясь и падая.
Но все время вперед.

Может быть, где-то там,
Подойдя к рубежу.
Буду я сожалеть о молитвах к Тебе.
Но сомнения мои еще не извошли.
Сотвори меня, Господи.
В чистой воде.

* * *

У Вечности свои законы
люди для удобства
делят ее
на секунды
минуты
годы
столетия

озираясь назад
с восхищением восклицают
как долог наш путь
а Вечность
смсстся своей остроумной шуткс
возникшей в мгновение скуки

* * *

Вечность — ребенок, забавляющийся игрой,
царство ребенка.

Гераклит

1

В этой странной игре
Не расписаны роли.
Фейерверк, взрыв страстей
И пелепый каприз чудака
Управляют движеньем
Безудержной призрачной воли.
И срывается высь
Водопадом безумства река.
Полный хаос и бред
В планах по мирозданию,
Звездный дождь в один миг
Перешел в камнепад.
Вновь струится песок
Под подошвой сознания
То ли к свету из тьмы,
То ль в пути наугад.

2

Я — игра, твое воображенье,
Ты — игра, мое воображенье,
Мир — иллюзия, над пропастью
скольженье
Призраков, которых вовсе нет.
Просто вдруг возникло чье-то слово.
Слышишь ты, что значит это слово?
Эхо в пустоте, и звуком новым
Опясан первозданный свет.
Мы лишь сон и чьи-то страхи,

Мы лишь стои и злме страхи,
Мы лезником и уйдём за мракe,
Мыльным пузырем исчeнет сон,
Мир — илюзия, над пропастью
скольжение.
Мы живем лишь в воображении,
Это подвиг наш и поражение,
Но что скажет нам об этом (ли)?

* * *

Я перешагнула через ступень на лестнице,
Валушей к вершине Парнаса,
И не постигла
Тайное могущество близозвучной ритмы.
Мои мысли обрываются на потусловле
Мои мысли —
Это издраниця в ключья душа,
Цену им никто не назовет,
Но, может быть, Гармония,
Прилетая на один из вечеров,
Устроивших в ее честь,
Увидит и подберет издраницную душу?

* * *

Секунды
прозрачными каплями
падают
с крыш:
ручьи собираются в реку
и путь свой ведут к океану
невидимый ткач
из секунд
словно ткст покрывало тумана
и укрывает им мир похотелливый
секунды-пушинки
ложатся под ноги
и жгут
затаенного часа
когда
прозрачными каплями
словно стекутся в ручей

* * *

На ладонь легла снежинка —
Вершина графического изящества Природы,
Но тепло ладони слишком губительно для нее.

На ладонь легли хлебные крошки —
Вершина мудрости Природы и Человека,
Но их тут же высыпали птицам.

На ладони выткалась сетка морщин —
След, оставленный временем,
И его ни стряхнуть, ни растопить.

* * *

В прошлой своей жизни
я была стеблем бамбука
из которого нищий поэт
сделал свою свирель
он бродил по дорогам Индии
слагая грустные мелодии
и они светлыми каплями слез
стекали по лицам людей

* * *

Под каблуком изящные снежинки
Свою мсняют форму умирают
Не видя этой смерти
Мы говорим
Как долго снег лежит
И продолжасм путь
По памяти скрипучей
О том
Что называлось снегом

* * *

Я ухватила за конец
Клубочек счастья
Как хочется скорее

Размотать сто
Чтобы понять
Так в чем же суть
Считающих себя счастливыми
Но жуликий страх
Сковал суставы пальцев
А вдруг порвется
Счастья нить
И каждое брешение
Заветного клубка
Я поливаю градом пота

* * *

Какое это сумасшествие — Весна!
Звенящие остатки холодов прощепших
И спешка дней, от спячки отощавших,
И воробьев галдящих суета!

Ты посмотри, как воздух загустел
И чаша неба до краев налилась
Безумной синевой и тайной силой,
Зовущими от суеты и бранных дел.

Весенних дней напор заморозил.
И из глубин вселенского колодца
На землю льст ликующее солнце
Свои пальцы и зонтики дожли

* * *

На востоке взошла моя звезда.
Там, где лотос купается в розовом дожде
И где коров ображают в гирлянды.

У древнего храма, пред которым бессильно время,
Ее луч коснулся спящей почки,
И — рванулся к свету дикий побег.

Звуки сутры, кранимые вековыми камнями,
Говорили об истине и не покусались на дикость
Упрямой лобета, тянущегося к свету.

А когда побег прикоснулся к истине,
Он зашел небесными цветами,
В которых заключена вся гармония мира.

* * *

Соединить в себе поэта и женщину пытаюсь.
Один жаждет вдохновения.
Другая — простых житейских радостей,
Первый парит в мире мечтаний,
Вторая твердо стоит на земле,
Первому хватает представления о чувствах,
Второй мало самого горячего признания.
Кому из них помочь?

* * *

Небесной синевы испить,
Чтоб опьянеть от бессознания
И утонуть в бездонности
Благоуханных трав.

В купели снежной
Вдоволь искупаться,
Чтоб смерть на миг
Жестоким пламенем объяла.

В немом восторге пред любимым
Пасть на колени,
И быть отвергнутой с презреньем,
И боли чашу до конца испить.

Я для того на свет явилась,
Чтобы пройти все испытанья,
Что мне начертаны судьбою,
И с полным правом произнести — жила!

* * *

Моя душа клубком свернулась
как кот у жаркого огня
в камине потрескивают сучья

кот изрынет
душа блаженству ищет выход
и... находит
в чуть слышном шепоте признанья
тебе
в уже стирающей любви
в минуты эти
прошу не везь
в души мои блаженные признанья
когда побудь
сгорят прова в казние
а вместе с ними
светлым дымом
любовь во мне растает

* * *

Как долг путь от правды бытия
К единственному свету. Пламя страсти
Уже горит, но жар того огня
Пугает и чарует — он опасен
Как можно двигаться к огню,
Когда осадить лишь мгновенья
И сладкое: «Почти люблю»,
И горькое: «Уже люблю» —
Слилися в песне адохновенной?
И роковую эту блажь
Души мяскакой и беступной
Не оставишь, не отдашь,
Закрыв глаза — лишь бы кому-то...
Рожденная твоей луной,
К тебе стремится с новой силой.
Не верна, что можно вновь,
Не вера, что возможно вновь
Так полюбить, как я любила...



**МАРГАРИТА КУЗЬМИНИЧНА
АНИСИМКОВА —**

представительница старшего поколения нижевартовских литераторов. Родилась в Свердловской области, долгое время жила и работала на севере Западной Сибири. Автор двух десятков книг — от сборников мансийского фольклора до романов «Вауди», «Порушенная невеста», «Плач гагары».

Живет в Нижневартовске.

Звонок среди ночи

Рассказ

Снежная пыль заволокла даль. Ветер-врховик давно оголил вершины хмурых кедрачей, сосняка, елей и воем выл в голых ветках березняка. Всс живое вокруг замерло, спряталось в глубоком снегу, и только две узкие полоски лежнски-настила из деревянных плах выглядывали из-под снега, указывая зоркоглазому шоферу Шоте Топнадзе дорогу по узкой просеке к очередному лапункту.

Его, опытного и проворного, немало поездившего фронтowymi дорогами, начальство отправляло в самые дальние рейсы. И жители дальних деревушек, зная про запрет не возить вольнонаемных пассажиров, тайком ждали Шоту за поворотом, у низкого сарая за городком, затерянным среди Уральских гор, с красивым названием Светлая Балка.

Машина, груженная мешками отрубей, бочками рыбной солонины, мороженой капустой, медленно оттаивалась. Шота вылезал из кабины, не глядя, безмолвно подавал знак рукой, что означало: залезайте! Околевшие на морозе люди молча устраивались между мешками, бочками и ящиками. Шофер накидывал поверх кузова большую брезентину, и грузовик, фырча и будто простуженно кашляя, медленно следовал в снеговую даль. Проехав по вертким промороженным плахам километров тридцать, машина начинала «чихать», оттаивалась. Шота стремглав перебрасывал ноги в срысы пимы с толстыми подошвами, в несколько рядов прошитыми суровыми нитками драгты, напевал:

— Где бравый топк не проползет и бронепоезд не промчится. «Захар» на пузр проползет, и ничего с ним не случится.

Он почти артистично отбрасывал чугунную крышку одного из пузр:з бункеров и длинным металлическим штырем энергично шуровал обуглившиеся чурки. Стояб искр, дыма, копоти поднимался ввысь, оседая на брезентине, облакаивал смуглое бордовое лицо шофера. Тут же Шотт широченной лопатой загружал котел заранее напаянными чурками.

Все шло своим чередом, как впрруг..

— Ва-а! — раздался его удивленный возглас. Пассажиры перетянулись.— Ва-а! — снова крикнул Шотт, улыбаясь.— Ирина здесь.

Одетая в длинное материнское пальто с большим шалевым воротником девушка глядела на Шотт, удивляясь: откуда он знает ее имя?

— К отцу на каннкула,— ответил за нее безогий счетовод Павел Рычков.

«Какой-то колонист и знает мое имя».— подумала Ира и с пренебрежением посмотрела в его сторону.

— Откуда он тебя знает? — не упустил случая спросить Сашка Савченко, схавший в колхоз.— Не бойшься, Николай Михайлович узнает?

— Ну и что? Он не такой дурак, как ты,— набралась храбрости Ирина, хотя и помнила наказ домашних: не отвечать ни на какие вопросы заключенных, помнила и то, что все, кто привезен в этот край, непременно прелетели Чувина. Да и сами были свидетелем того, как каждое утро проводят на работу этих заключенных под охраной вооруженных стрелков с собаками. «Жили бы с добрыми умыслами, так и не приехали бы в наши снега».— рассуждала Ирина.

Теперь же удивлялась деревенцам. Раньше по тем же улицам ходила в школу, на реку за водой, тнлы корову в стадо, и никто не обращал на нее внимания, а в нынешнем году все как случели. Обязательно кто-нибудь да окликнет. Она даже стала бояться выходить из дома, пока не оглядится из ворот почтового двора.

— Теби жель Ириной лову? — спросил шофер. В ответ она кивнула и уже пожалея, что выспросилась у матери поехать в колхоз, к отцу, который работал там председателем.

Колеса машины простучали по шпалам, и борт кузова накренился. Мотор заглод.

Сменщик Шоты заматерился и, карабкаясь в кузов, буркнул:

— Теперь на морозе заснете. Не скоро выберемся из заноса.

Саша Савченко перепрыгнул через борт и, полпрыгивая, побежал по лежневке. Ирина сбросила с себя длиннющее пальто матери, легкой птичкой выпорхнула из кузова и снова быстро оделась.

— Давай наперегонки,— предложил Сашка.

Машину на лежневку поднимали до самого вечера, бросая под колеса хвойные ветки, деревянные чурки и даже замусоленную телогрейку.

У узкой тропки, ведущей в колхоз, остановились, когда лес уже стал казаться черной стеной.

— Там мой чемоданчик,— закричала Ирина сменщику.— Такой деревянный.

— Нет никакого чемоданчика,— ответил тот.

— Там он! — закричала она, но машина поехала дальше. Ирина заплакала.

— Найдется,— попытался успокоить ее Сашка.

— Много ты знаешь,— вытирая слезы, проговорила Ирина.

И в самом деле, откуда было знать парню, что в фанерном чемоданчике, закрытом братом на несколько узелков проволокой, лежало американское платье-кдеш, фетровые боты матери, которые она весь вечер начищала двумя ложками манной крупы, и полушерстяной платок в крупных красно-черных квадратах. В таком наряде она хотела явиться в колхозный клуб и при свете керосиновой лампы, на скрипящем патефоне проиграть трофейную пластинку с фокстротом «Рио-Рита», протанцевать перед колхозными ровесницами.

В деревню зашли в глубоких сумерках. Отец сидел в правлении среди окончивших работу доярок, скотников, конюхов. Обрадовался, увидев Ирину, но только и сказал:

— А я думал, мать приедет.

— Я завтра домой вернусь, пусть она едет.

— Чего так быстро собираешься обратно, еще и порог не переступила?

Она промолчала.

Отец жил в небольшом домике напротив правления. Пять ступенек из толстых плах одолел с двумя останковками. Домашнее тепло обняло Ирину, а горячее молоко разморило совсем. Она поправила на лбу челку.

— Как ты выросла за этот год, — сказал отец, когда дочь встала из-за стола. Серое байковое платье с отложными воротничком казалось совсем коротким, из под него выставлялись длинные, худые ноги. Если бы не косы, то и шея могла бы показаться ему чудесно длинной.

— Через год и школу закончу...

На следующий день до лежневой свертки ее и попутчиков доичал выездной колхозный конь Воронка.

Сегодня должен ехать из Бурмантово или Иван Трубка, или Иван Свельев, — сказал зычвал.

Ехал Иван Трубка. Увидев колхозников, остановился.

— Ты, Ирина, иди в каину сались, — сказал шофер. — И этот меня знает по имени! — с ужасом полумала она. — Вот наказные!

— Что-то ты скоро наостилась, — заметил шофер.

Тут Иринки не выдержали, заплакали и, сами не зная почему, рассказала Ивану по прозвищу Трубка, что у нее в предыдущем рейсе потерялся чемодан и что она об этом не сказала отцу и не знает, как сказать матери. Маглина понеслась с такой скоростью, что сидевшие в кузове пассажиры несли стучать по кабине. Впереди лапожлали тусклые огни — лампочки по всей длине высокого забора с колючей проволокой. Это была зона которую крепко охраняли тяжелые засовы, бегущие по цепи собаки и вооруженные стрелки, сидевшие в будках, выстроенных гораздо выше забора. Не дожидаясь горючки, выскочили из кузова пассажиры.

— Ты сиди.

— Я живу возле почты, — сказала Ирина, когда Иван Трубка не позволил ей открыть кабину, крепко прилежав ручку. — А куда ты меня везешь? — закричала девушка, когда машина промчалась мимо почты.

— Куда надо.

Стрелок, стоявший возле ворот ЦРМ, не остановил Ивана Трубку. Через две минуты шофер привел пассажира в какую-то пропавшую бензином конторку.

— Ба! это же Ирина! — сказали кто-то жесело.

— Где Шота Топинадзе? Кто был сменщиком? — строго спросил, Иван Трубка. — У нее чемодан потерялся. Не выпрыгнул же он из кузова.

— Не может быть. Найдем его, Ирина.

— Откуда вы все знаете мои имя? — спросила она не зная кого.

— Глупый ты человек! Как нам в этой глухомани не знать твоего имени? Вон у нас Алексей, наверное,

все твои шаги высчитал. Каждую свободную минуту на крышу носится и все знает про тебя.

— Что ли, я одна живу в Светлой Балке?

— Вот в Светлой Балке и живет светлая Ирина!

— Нам нельзя с вами разговаривать,— сердито сказала она.— Все вы предатели Родины!

— Это мы-то предатели Родины? Глубоко ошибаешься. Мы за нее дрались до последнего нашего дыхания. Мы здесь все с фронта: кто раненым, кто контуженым в плен попал, а уж после — сюда!

— Давай, Иван, отвези ее домой, да так, чтобы никто и не узнал, что к нам заповил. Не наводи тень на плетень. Вои она какая хорошенькая, выросла на наших глазах, а мы все только издали поглядывали.

Ирина разревелась.

— Что ты такая плакса? Найдется твой чемоданчик,— успокаивали ее.

— Я уже не о нем плачу, а просто так.

Узнав о потере чемоданчика, мать не особо ругала Ирину, а только сокрушалась:

— Зачем брала мои фетровые боты! За них мне врачиха Елизавета Михайловна новый отрез на платье давала.

— Там в узелке бабушка Русиниха шерсти на носки послала да две коровьих ноги на холодец,— сообщила дочь.

Мало-помалу мать успокоилась и велела:

— А ты на печь полезай да ложись не на доски, а на кирпичи, прогрейся как следует, а то взал-вперед по такому морозу. Опять захворашь.

Ирина долго лежала с открытыми глазами, пыталась увидеть на небе луну или звезды, но мороз разрисовал окна нарядными узорами. Вдруг в окно кто-то постучал. Мать на цыпочках подошла, посмотрела в узкую проталинку возле рамы.

— Какой-то парень,— сказала шепотом.

Ирина стремглав спрыгнула с печи.

— В руках-то у него мой чемоданчик! — воскликнула она.

Впопыхах засунув голые ноги в чьи-то пимы, Ирина надела ветхое пальтишко и выскочила из избы. Не раздумывая, не говоря ни слова, с разбегу бросилась парню на ногу. Он только успел спросить:

— Твой?

— Чего надлетела на меня, как сумасшедшая. С ног его свалили! — кричала мать в проткрытую дверь.

Парень торопливо побяжал к воротам. За ним стукнула школка.

— Кажись, он заключенный, — прощентала мать и погрозила Ирине пальцем.

В чемоданчике все лежало в целости и сохранности.

С тех пор прошло целых тридцать лет. Ушли в прошлое трудные военные годы, изменилась жизнь в Светлой Балке. Городок похоронился с постройкой многоэтажных домов. Но по-прежнему гонорливо шумит чистой водой речка Серебрянка. Правда, она стала мельче. Ирина Николаевна закончила институт, вышла замуж и давно уехала из Светлой Балки. И кому бы в голову пришло вспомнить про какой-то фанерный чемоданчик и старые фетровые боты да американское платье-кюши, если бы... не письмо, адресованное в редакцию Ирине Николаевне Аксеновой с пометкой «личное».

Письмо короткое, с едственным вопросом: Ирина Аксенова (ее фамилия после замужества) не та ли девушка из далекого северного городка, которая жила в домике почтового двора? И разборчивая пописки: Алексей Тимофеев... Ирина Николаевна несколько раз перечитала написанное и, ощущая слабость в ногах, села на стул. «Да, это я», — прищелкала она сама себе и мысленно была уже в Светлой Балке, в домике почтового двора, где прошло ее детство.

— Но Алексей Тимофеев, Алексей Тимофеев... — пощелкала она вслух.

Сколько лет, судеб, различных встреч было у нее в время журналистской работы! Перебрала в уме всех однокурсников, ребят из параллельных классов, мысленно пробежала от начала до конца по всем улицам Светлой Балки, но вспомнить этого загадочного Алексея Тимофеева так и не удалось. Домой пришла озадаченная.

— Так кто же он? И друг лино ее вслышную.

— Боже мой! — всколыхнула она с мысли. — Это же заключенный, который привнес в морозную ночь мой фанерный чемоданчик. Боже мой! Сколько же прошло лет? Двадцать? Нет, тридцать!

И сразу в голове вопрос: как он нашел меня? Ведь живу за тысячи километров от Светлой Балки...

На память пришел еще один летний день, когда брат передал ей шариковую ручку (в ту пору редкий пода-

рок!) от какого-то рыжего парня. Брату тут же велено было догнать парня и вернуть ручку.

— Он заключенный! — сказал брат, еле переводя дух.— Стрелок ведет его в сторону ЦРМ.

— Достукалась? — сердито буркнула мать.— Моли Бога, что отца нет дома.

Да, это он. Парня звали Алексеем, а фамилию она не знала. «Ну, девочка с почтового двора»,— сказала себе Ирина Николаевна, довольная, что смогла выискать кое-что в закромах памяти. Но что писать ему? Слова, которые являлись в этот момент, казались бессмысленными, никчемными, неубедительными: складывались то в слащаво-высокопарные фразы, то в совсем беспомощные. «Чего мудрить?» — подумала она и на чистом листе размашисто написала: «Да, я та девушка из почтового двора. Ирина Аксенова». Письмо было отправлено в Москву по указанному на конверте адресу, но почему-то сразу наворачнулись на глаза слезы. Явилось осмысление тех давних голодных лет...

Нельзя сказать, что Ирина Николаевна с нетерпением ждала ответа, но замечала, что в ворохе журналистской почты отбирала прежде всего письма с московскими адресами. Письмо пришло. «Светлейшая Ирина Николаевна»,— так начиналось оно, и дальше, написанная убористым почерком, шла исповедь Алексея. После отбытия срока наказания в отдаленных от Светлой Балки лагпунктах — «...ноги сами несли меня к домику во дворе почтового дома. Но девушка та, Ирина, уже не жила в нем. Она вышла замуж и уехала. Въезд домой, в Москву, мне был запрещен. И вот тут-то со мной произошла полная метаморфоза! Веря все-таки в человеческое добро, я стал упорно искать женщину по имени Мария Кирилловна, которая в те невыносимо трудные дни побга из фашистского плена помогла мне скрываться: держала в чулане, поила, кормила, перевязывала рану под страхом собственной смерти. С ее помощью мне удалось через суд восстановить свое воинское звание, получить заслуженные в боях ордена, поступить в институт и окончить его. Я долго был холост. Мне все снилась та девушка с длинными косами, что жила в домике почтового двора. Теперь у меня жена и двое дочерей! А сердце мое чувствовало, что я найду Ирину. Ирину Аксенову. И вот в газете «Социалистическая индустрия» я встретил очерк под этой фамилией. И почему-то совсем не сомневался, что это написано Вами, Ирина Николаевна! Адрес

дней было нетрудно. В редакции газеты я получил его в считанные минуты. Однако не сразу взялся за письмо — ведь прошла целая жизнь! Но я не мог не сказать главного, что своей эскадрилей судьбой я обязан двум русским женщинам, неизбежно дорогой Марии Кирилловне, спасшей меня от физической смерти, и той крупной девушке из почтового двора, которой я любовался издалека, из-за которой несколько раз отправлялся в «любегин», и ловили меня всегда возле почты или в вашем огороде. Вначале садился за такую «ронинность» в карцер, а в последний раз отправили в Пониз. Своим слабением и желанием жить я обязан Вам, Ирина Николаевна. С поклоном!...»

— Ничего себе, девушка с почтового двора! — вслух сказала она, еще раз впитываясь в искреннюю исповедь Алексея Тимофеева, в которой не было ни фарса, ни показухи, ни дешевого флирта.

Их переписка была редкой и немногословной, и казалось, что каждый боялся лишнего слова. И только между строчек угадывался намек на желание встречи. Отважился на это Ирина Николаевна. В очередной раз проезжая через Москву, отыскала в блокноте номер министерства, где в то время работал Алексей Тимофеев, и позвонила. После секретаря ответил густой мужской голос.

— Мне бы Алексея Тимофеева.

— Ивановича, — послышалось в трубке.

На какой-то миг она ступевалась, но быстро продолжала:

— Звонит Ирина Макарова.

Все стихло, и через какое-то время послышалось невообразимо громкое восклицание:

— Иринушка! Ирина! Ира! Господи! Где вы?

— В Москве.

— Я сейчас! Я бегу, слу! Где найти?

— Я рядом с площадью Пушкина!

— Через десять — пятнадцать минут буду там —

И вдруг после заминки: — Иринушка. Я теперь льзый!

— Зато с портфелем. — нашлась она. Послышался смех, похожий на гоготанье. И длинные гудки.

Она будто проснулась и только что и могла буркнуть себе под нос: «С чего это он обращался ко мне на ты? Но тут же машинально стала поправлять прическу, отряхивать юбку, невольно спрашивая себя, что же стало с той Ириной Макаровой? Вместо кос — косица

стрижка, вместо тонкой талии — спрятанные под роскошным фасоном юбки раздобревшие бедра, да и лицо округлилось, возле глаз появились мелкие морщинки. Прежней осталась, пожалуй, лишь улыбка.

Шла к площади в раздумье: как узнать Алексея Тимофеева, ведь она его совсем не помнила. На площади народу тьма — лысых, кудрявых, седых, бритых, старых, молодых, грустных, веселых!

День был солнечным и, как ей показалось, праздничным. Прошло минут десять — двенадцать, прежде чем на углу среди покупателей цветов появился мужчина высокого роста, в сером костюме, в рубашке без галстука.

«Он!» — подумалось, и она торопливо пошла навстречу.

— Ирина! — закричал он издали, разбросав руки в стороны, намереваясь схватить ее в объятия. Из букета повалились цветы.

— Так и должно быть, Ирина Николаевна, — не поднимая роз, сказал Алексей Иванович, как-то по-свойски взял ее за руку и повел к первой свободной скамейке. Он плакал, припав к ее руке. Она не пыталась утешить его, затихла и замсрла.

— Прошу извинения, прошу извинения! — торопливо произнес он, не выпуская ее руки, и сразу сбивчиво заговорил о Светлой Балке, о центральных ремонтных мастерских, в которых Ирина никогда не была, разве что когда завозил ее туда Иван Трубка.

— Теперь там автобусный парк и вместо заключенных работают вольнонаемные, — постаралась она подержать разговор.

— Ты помнишь начальника лагеря, полковника? — И он назвал фамилию, имя и отчество.

— Нет, — тихо ответила Ирина Николаевна.

— А механика Сашу Дубинина? Такого белокурого. Он после освобождения женился на одной из дочерей начальника лагпункта.

Ирина Николаевна молчала. Откуда ей, тогдашней десятикласснице, было что-то известно о лагерном начальстве и вообще обо всем, связанном с заключенными, кроме, пожалуй, тех, кто играл в духовом оркестре клуба имени Дзержинского.

— Ну, а Шоту Топнадзе ты, конечно, помнишь? Твой фанерный цмоданчик украл его сменщик. При заправке машины выбросил в снег, а на обратной дороге,

задомнив место, остановился и забрал. Мы тогда из этого сменника чуть душу не вытрясли. Но если бы не чемоданик, разве бы я мог взглянуть тебя? Штуту в прошлом году падает, к нему с дочерью в гости едем.

И опять разговор пошел вокруг фанерного чемоданика и девушки из почтового двора.

Милень-помилу Алексей Иванович успокоился, долгим и пристальным взглядом посмотрел на Ирину Николаевну и произнес:

— Я такой и представлял вас, Ирина Николаевна, и откровенно скажу — эта встреча мне была просто необходима.

Он еще что-то говорил, но тут Ирина Николаевна заторопилась, заявив, что у нее через два часа уходит поезд. Она отказалась поехать на вокзал на его машине, за углом оставив такси. Расставшись нелепо. Быть может, в этих нелепостях и таились вся сила и трагизм их отношений.

В вагоне она расплакалась, хотя толком не могла объяснить причину своих слез. И продолжала крепко держать одну, оставшуюся в руках розу. «Нет, не нужно больше встреч», — твердо решила она. — Пусть я останусь в его жизни сказкой из суровой юности.

Не хотелось ни разочаровывать Алексея Ивановича, ни разочаровываться самой. Со сказкой и мечтой жить легче! Она осталась верна своему слову.

Прошло еще двадцать лет. Пнук принес почту и громко прочитал обратный адрес:

— Москва, Тимофееву А. И.

— От Тимофеева? — переспросила она. — Почему то в неопределенный день!

Обычно они обменивались накануне праздников лаконичными открытками. Адресованные ей начинались эпитетами в превосходной степени: «Светлейшая, благороднейшая, добрейшая...», а потом шли банальные слова с поздравлениями и добрыми пожеланиями. Но это письмо было гораздо больше обычного. Пришлось взять очки. Оказалось, внук Алексея Ивановича, старшегоклассник узнал, что дед был репрессирован и отбыл срок в суровых краях, попросил его написать кое-какие воспоминания. Дед согласился, но, сам того не ожидая, поймал себя на мысли, что ничего путного и примечательного не помнит, если не считать встречи с девушкой из почтового двора. День начинался с желания увидеть ее то бегущей в школу, то носившей из проруби

воду, то... И бесконечные думы, мечтания. И что она, эта девушка, все время и сейчас стоит перед его глазами, как добрый ангел-хранитель. А главное, ему хочется узнать, не возражает ли Ирина Николаевна, если он расскажет об этом в своих воспоминаниях.

Ну что ему было ответить?

Июньские ночи в Сибири по-своему хороши. В них кружат запахи распустившихся деревьев, буйствуют и цветут травы, неистово жужжат комары и звучат голоса, голоса веселых людей, желающих насладиться тихими вечерами, воочию увидеть, как встречаются зори...

И вдруг звонкий телефонный звонок.

— Ириночка, это ты? — осведомился мужской голос.

— Для кого это я вдруг стала Ириночкой? — спросонья переспросила она.

— Ириночка, ты что, не узнала меня? Это я.

— Боже милостивый, — только и выговорила Ирина Николаевна.

— Я из Москвы. Неужели не узнала? — в игривом мужском голосе слышались интонации, похожие на крик.

— Алексей Иванович, мой дорогой! — осененная догадкой, торопливо ответила Ирина Николаевна.

— Как ты назвала? Я не услышался? Ты назвала меня дорогим?

— В нашем возрасте все позволительно, — весело сказала она.

— Всю жизнь я прожил в ожидании услышать от тебя это слово. Спасибо. А пока слушай меня внимательно и не перебивай, не останавливай. Вчера я приехал с дачи и у меня нестерпимо заболело сердце. Болит и сейчас. Слышишь?

— Слышу, — пролепетала она.

— Знай, что ты всегда была для меня самым дорогим и любимым человеком на всем белом свете. Думы о тебе спасали меня. Для всей моей семьи, жены, детей, внуков — ты и твоя семья будете самыми желанными гостями в моем доме. Это на случай, если вдруг перестанет биться мое сердце.

— Ну перестаньте, Алексей Иванович! Нам еще рано говорить такие слова...

Но вместо ответа в трубке потянулись протяжные гудки.



**ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
БАРМИН**

Ему 39 лет. Работает дизайнером, занимается живописью, увлекается авторской песней. В прошлом казарный офицер, боеват в Афганистане. Стихи публиковались в городской, региональной и областной печати, вошли в сборник «Город, посетящий в стихах», вышедший к 10-летию г. Радужного. Автор книги стихов «От первого лица». Живет в Радужном.

Молитва

Господи, дай мне разум,
Даруй душевный покой,
Чтоб мог единственной фразой
Свою успокоить боль.
Даруй мне, Господи, веру
И мужество на пути
Спасенья того, что можно
Еще сохранить и спасти.
Чтоб в краткой обличии Ангела
Издли лик распознать
И, будучи вновь обманутым,
В ответ самому не солгать.
Господи, дай мне силы
Бесцельное свое принять
И, слабому, чрез унижения
Верх над собой одержать.
Прости, ибо грешен, каюсь.
Но в смертных своих грехах
Позерь мне, я не был Канюном,
Хоть кровь на моих руках.
Молю! Сохрани, Господи,
От жизни идущей вспять.
И что изменить не в силах,
Как есть, помоги принять.

* * *

У веры мисс души —
стража,

И на выход наложен
запрет —
совершили в душе моей
кражу
и оставили липкий
след.
Кто осмелился?
Кто решился,
уходя, прихватить
с собой,
без зазрения
локусился
на царящий в душе
покой?
Отнял, выбил из рук
свечу,
что светила звездой
в пути.
Я по счёту сейчас
плачу,
чтоб пропажу свою
найти,
чтобы вырвать из сердца
страх.
поселившийся там
нежданно,
и развеять по ветру
прах...
Страх и прах — сочетание.
Странно...

* * *

Не говори красивых слов, не надо —
Как они далеки от смысла,
Запылены ноты той серенады,
И перепутаны голды и числа.
Тогда нам казалось: всё возможно,
Мы не считали, не мерили
И по наивности неосторожно
Верили... Верили... Верили...

Афганский Новый год

... Новогодняя почта карнавалом
игривым кружится
Новогодняя ночь покрывалом
на плечи ложится
Новогодняя ночь — волшебство
исполнения желаний,
Ночь слияния сердец,
новогодняя тайна...
И перю, как маленький мальчик,
И с надеждой под елку смотрю
Но мне жизнью обещанный тарих
Лет уж десять как предан огню,
Где в подарочной твоей круговерти
Перепутался, пережилась...
Новогодний ненужный конвертик.
Не борюсь новогодняя злость
Тот ладский, но в сердце живущий
Раной, болью, салютом каленым,
Год, по жизни угаром ползуший,
Год, когда был мальчишкой зеленым.
Дед Мороз в этот раз не скупился,
Только равным мешочный расклад
Был для каждого, кто очутился
В Новый год тут, лет десять назад.
Что рукав на ветру словно парус?
Нечем разве прижать, придержать?..
В новогоднюю ночь Санта Клаус...
В новогоднюю ночь «твоя мать»...
Жаль, не нравится этот подарок,
Что зайчата тебе принесли.
Крепко, ладненько Глянь! Без пимпкок
На, носи в Новый год костыли
И прилежной рукой солдати
Поднимает с шампанским бокал,
Пьет, забывшись, что он в медсанбате,
Пьет за женщин, за медперсонал
И салют мозголюней кантатай
Бьет по дулам, по охам в ночи
Разорывайся где-то гранатой,
В нас сейчас гулким эхом звучит.
Долой будет картечь отголоском
Настыням, добывать, убивать

Нас, когда-то в погонах, подростков.
В новогоднюю ночь, «твою мать»!

* * *

Кто назвал эту иву плакучей.
Видно, сам был поплакаться рад.
Иву вижу я луком певучим,
Стрелы листьев пускающим в сад.
Кто назвал это время бегущим,
Видно, сам пробежаться не прочь.
Я б назвал его просто ползущим
В темноте наугад, на авось.
Кто сказал то, что память вечна?
Вечно — это на век? На пять?
Питекантроп в беседе беспечной
Что возлюбленной мог сказать?
Вот и мы с тобой так устроены:
Видишь черное ты голубым,
Тебе весело — я расстроен,
Мненья наши — как камень и дым.
Где же выход из этой сумятицы
Разногласий и философии?
Камень тот не туда, не так катится,
Дым не так, не туда уносится...

* * *

Я рук твоих ласкающую нежность
Всем телом жду. Пленительным мотивом
Во мне звучит струною безмятежность
Пьянящая. Листвой шумящей ивы,
Искрящую апрельскою капелью,
Дыханьем ветра, бархатом ночей.
Все в этой песне, в этой дивной трели!
Ты — тишина, ты — мягкий свет свечей,
Ты — все вокруг меня: и радость, и любовь,
Ты — счастья дар и сладостная мука,
Ты — музыка. И от желанных звуков
Я умираю и рождаюсь вновь.

Стоит ли звонить?

Стоит ли звонить в колокол печальный
И себя винить за любовь случайную?
Ветер, растрепав льняные волосы,
Тыло прошествовал твоим мне лыжком:
«Уходя, оставь на память что-нибудь,
Даты переставь иль просто позабудь,
Ласки, как тогда, помнишь, незапамят, —
Больше никогда не расточай.
Ты прими, как дар, полаяние,
Прощенья от чар заклинание,
Окупись в свое одиночество
И — лицом к лицу — встань к пророчеству.
Стоит ли звонить в колокол разлучный
И себя винить за время лучшее?»

Судьба

За окошком востер и дождь стеной.
А Судьба моя — за моею спиной.
И что я решаю, то совсем не я,
За меня решает же Судьба моя.
На распутиях встал и завет прочел,
Только одного совсем не учел —
В выборе дорог пред собою не я,
За меня избрала путь Судьба моя.
Я ступил на лед — подломился он,
И в ушах записал паничный звон.
Умереть хотел, но моя Судьба
Вновь решила все за меня сама.
Разреши, о Боже, самому решать,
Чтобы знать, за что же мне ответ держать, —
Все, что я решил, то решил бы я,
А не как всегда — Судьба моя.



ВИКТОР ИВАНОВИЧ

КОЛОДКИН

родился в 1954 году в Воркуте. Владеет многими профессиями, в том числе охотведа.

Окончил факультет биологии Кировского сельхозинститута и факультет охраны природы Института стандартизации и метрологии в Москве.

Печатается в региональной периодике. Живет в рабочем поселке Новогаганске.

День кончился — ночь еще не начиналась

Рассказ

Ты увидел что-то без начала и конца...
А все-таки ты увидел кусочек жизни.
И вспомнишь его потом. У тебя в памяти
осталась картина.

Джек Лондон. Тропой ложных солнц

И эту долгую зимнюю ночь сменили предрассветные сумерки, и уже угадывалось открытое пространство широкой долины ручья, текущего на север: две округлые вершины моренной гряды, тянувшейся вдоль западного берега; стену соснового бора вдоль восточного.

Там, где бор широким языком вплотную подступал к чернеющему промоинами ручью, была проплетшина с охотничьей избой посередине. С тропы, ведущей от избы к проруби на ручье, был виден в окне свет керосиновой лампы — охотник уже встал.

Короток зимний день здесь, на водоразделе, где реки, текущие к Оби и Енисею, уже за холмами на юге, а ручьи, прорезая каньоны в песчаных увалах, сливаясь, спешат прямо к Холодному океану. Поэтому охотник еще затемно сварил похлебку, посл сам, накормил собаку, выпил чайник чаю с запасом на целый день и вышел в едва различимые утренние сумерки.

Привычным движением ног надел ремни креплений подволок — охотничьих лыж из сли — широких и тонких, подлесных снизу шкурой, закинул на плечи рюкзак, затем ружье и зашагал на свой самый длинный путь — лыжно, с расставленными капканами и самоловами.

Уже много дней ему не везло — не поймал ни одного собора. Сегодня тоже надежда на добычу была слабая: несколько дней подряд стояла оттепель с метелью, и капканы «пюрикки» заволокли снегом, смиршились сверху плотной коркой. Вот и спешит охотник в первый же погожий день очистить капканы, подновить приманку на собора, подправить палки «двориков».

Он переходил от капкана к капкану, и его надежда на долгожданную добычу таяла. Вот уже и солнце перестало на вечер, и капканы уже все переверсны — остался последний. Неужели и там ничего?

Он, незаметно для себя, зашагал быстрее, растапывая пальцами лед на бровях и ресницах. Вот последний поворот лыжи, вот последний капкан.

«Ага, палку дворика сваленки», — сердце согрело предчувствие удачи.

Но через несколько шагов увидел и сам захлопнувшийся капкан, и следы росомохи, съевшей приманку. После нее подбежал сюда и соболь — вот его следы.

Охотник подправил «дворик», положил приманку, испуганно и поставил капкан на заход в «дворик». В дужках капкана даже клочок шерсти с росомашей скулы остался.

«Похоже, прямо палкой ткнулась в тарелку капкана. Да не уместилась эта палка в маленький капкан. — Он посмотрел на росомошин след — идет в одном направлении, прямо, размерно — значит, зверь проходной. — Он поднес руку под отпечаток следа и приподнял его. — Совсем след смерся, еще ночью прошел зверь, ни за что не догнать».

Охотник повернул на запад, где выдвинулась долина небольшой реки. Там, за грядой, протянувшейся вдоль западного края поймы, вдоль маленького ручья, впадающего с запада, стоял у него еще три капкана. Лыжи и с этого пункта туда не было, но зато оттуда вела приманка лыжи до избы.

«Придется идти — уследю до темноты добраться по лыжине. Он поднялся на бугор, спустился к реке и, определив по цвету снега отсутствие льда и промочив, перешел на другой берег. Дальше надо было идти по распути, где петлял ручей, курчавился дыркою над неизмеряющими каменными порогами. Ручей тек в неглубоком каньоне, склоны которого обледенели от холодной туманной изморози над промоинами. По этому блики света, отраженного от греззавишгого

в тысячи ледяных зеркал противоположного склона каньона, обычно сверкали всеми цветами радуги. Но сейчас они исчезли — солнце опустилось уже слишком низко.

Охотник поднял голову, снял рукавицу и, убрав изморозь с лица, посмотрел на увал, тянувшийся вдоль противоположного берега ручья. Багровое солнце, только что выглядывавшее из-за оранжевых сосновых стволов, скрылось за вершиной увала. День уже кончился — ночь еще не начиналась. А до темноты надо успеть проверить капканы и дойти до избы.

Он пошел быстрее, хотя ходьба без лыжни по глубокому рыхлому снегу больше похожа на подъем по бесконечной лестнице: выталкиваешь ногу с лыжей вперед и вверх, переносишь на нее тяжесть тела, и нога проваливается в рыхлый снег. Опираясь на нее, выталкиваешь другую ногу, и так без конца. Но вот «дворик» уже виден, а от него лыжня до самого дома.

«Что-то есть — вон борозда от капкана». Охотник повернул к ручью — след вел туда — и выскочил на край обрыва. Снежный козырек рухнул, и вместе с ним охотник неудержимо покатился в ручей.

Но, падая, он успел схватить палку-потаск, за которую проволокой привязывают капкан, чтоб попавшийся зверь далеко не убежал, и уже в следующий миг держал соболя. Ручей был мелкий и узкий. Лыжи воткнулись в дно под одним берегом носками, а задники остались на другом. Охотник был спокоен — наконец-то после стольких дней без добычи привалила удача.

Первым делом попытался вывернуть ноги из креплений подволока. Вот уже одна нога свободна. А другая? Крепление захлестнуло ногу. Свободной рукой выхватил нож и в воде разрезал крепление. Тут же выпрыгнул, оттолкнувшись от лыж, на берег. Быстро снял с плеча ружье и рюкзаки, положил в него соболя вместе с капканом. Лег на обрыв и, перегнувшись, выдернул за задники подволоки из ручья.

Ноги по колено промокли, а мороз около сорока. Охотник, ни на секунду не останавливаясь, стряхнул воду с лыж, положил их на снег, снял кисы, вытащил чужи, тщательно отжал и стряхнул их, быстро сбросил куртку, свитер, теплую рубашку и, оставив последнюю на снегу, снова оделся. Холод, охвативший было его тело, стал отпускать. Охотник оторвал рукава от рубахи, сунул в них ноги, пощупал чужи — шерсть на них еще не успела

напитаться водой, можно надвигать. Осталось выбросить стельки из пирег и вместо них вложить зимские рукавицы. Ну вот и кисы на ногах.

Обуться — это полдела. Охотник отогрел пальцы до рту, связал ремни на креплениях, соскобил с верев толлок льдинки, с трудом навалил застывающие ремни на ноги. Теперь, кажется, все. Рюкзак за плечи, ружье — и быстро вперед, в надвигающиеся сумерки.

«Хорошо, хоть лыжня «акатана», — думал он, влезая на уши над распадком. Мясни приходили медленно, само время будто замедлилось. Быстро двинулись только ноги и лыжи. Казалось, что последние багровые отблески заходящего солнца на глазах исчезали в виде расширяющихся кину пучков.

Только иде-то на полутьме стало показывать пальцем ног, и тогда он уверился в том, что не нужно будет разводить костер — пальцы не успеют замерзнуть. Но все равно надо спешить.

Вот и последний спуск с увала. Река, избашка. Едва влезав на утоптанную площадку перед избой, охотник «влернул» ноги из креплений лаг. Быстро вошел в избу, отогрел пальцы рук, прижав к чуть теплой железной печке, растопил ее заранее приготовленной тонкой смолистой стружкой, зажег керосиновую лампу и стал раздеваться. Печь уже гудела, и тело радостно впитывало первые волны исходящего от нее тепла, но он все-таки натер ноги осеколенным, выдел сзием чижик — впереди еще много работы: сварить еду, разделать соболя, починить рубаху, накормить собаку.

А ночь уже сменила вечер, и вместо сумерек между соснами рыхлится «тягучий лимонный» свет восходящей луны. В распадке ручья появилась фиолетово-черная мгла. И только свет керосиновой лампы, плазанный узкой полосой от окна избы на тропинку к проруби, оживлял эту мглу.



**АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА
ЮСУБОВА**

родилась в Карелии. На Тюменский Север приехала двенадцать лет назад. Увлекается музыкой, живописью, литературой. В настоящее время работает корреспондентом газеты «Мегионские новости». Стихи публиковала в «Мегионских новостях» и журнале «Югра». Живет в Мегионе.

* * *

Просто так, в никуда,
Просто так, ни за чем,
Уходил я вчера,
Нелюбимый никем.
И теперь я один
Провожая тебя
Просто так, ни за чем,
Просто так, в никуда.
Наши дни сочтены,
Наши души пусты.
Жизнь огнем пронеслась
Для меня, ну а ты
Не печалься и перь,
Глаз слезами не жги,
Может быть, он придет,
Еще миг подожди.
Ведь и жизнь — это миг,
Поцелуй на ветру.
Ты не слышишь меня,
Вот сейчас я уйду.
Приходил ни за чем,
Ухожу в никуда,
Нелюбимый никем
Навсегда, навсегда...

* * *

Зажув последнюю свечу,
Мы, словно эльфы, разлетелись.
В любовной нашей кольбели
Теперь холодный ветер спит
Но нежная луна хранит
Жар той любви неугаиваемой.
Пусть не святой и не счастливой,
Но и друзей не манит...

Видение

Здесь, где всегда идут дожди
И где душа привыкла к боли,
От солнца, томившихся в неволе,
Ни света, ни тепла не жди.

А там пески желтеют дном,
И ночью звезд искрится россыпь,
И нежных ни мур не слышна поступь,
Согретым чувственным огнем.
И песок струится олеод,
И влажный ветер стран далеких...
О, там пристанище сердец,
Израненных и одиноких.

Останусь там, чтобы не быть
Мне в мире этом пилигримом.
Не помню, был ли я счастливым
И был ли смысл на свете жить?

* * *

Я целовал кресты в церквях
И свечи ставил всем свечным.
Я у ворот пополю ждал.
Я жаждал, Боже, звать: где ты?
Когда же, Господи, сойдешь
С небесной, ясной высоты,
Когда распустанся в руках
Из воска желтые цветы?

И ароматом древних вин
Вдруг опьянится все вокруг.
Венок слетится сам собой
Из верных и надежных рук?
Когда закружит хоровод
Людского братства и любви
И благодатные дожди,
Как слезы, смоят зла следы?..



ЕВГЕНИЙ ВЕК

(Ивантний Валентинсвич Кочинскі)
родился в 1938 году. Работает
главным бухгалтером трестовой
комшины. Пишет давно, неоднократно
публиковался в городской, региональной
и областной печати. Автор книги стихов
и прозы «Тоска».
Живет в Радужном.

Русь

Русь...

Красивое слово!

Вслух произнесешь — кажется, между языком и губами точно ладанка перекачивается. Странное слово, какое-то твердо-мягкое: Русь — Русьш — бонш — спокойное мужество в нем скрыто. Русь... Маресь — и в то же время женственность великаяя той, дальной Мадуси, Маши, гибкий ее стан и ощутимая даже на взлуд мягкая тяжесть ее косы. А в глазах — отчаяние матери. Отчаяние прежде любви и покоя или уже потом? Откуда?

Русь...

Небо над тобой бездонно, безграничны просторы твои, и ощущение этого — как святое причастие. Что ты ешь? Шелк кудрей березы и нежный шелест ее листвы, и белизна ее ствола испорочная, и свежий надрез ча коры, истекающий соком. И как это все соединить вместе?

Кладовые твои богатством домятся, а все тянешься к ладным и .оле, и кажый русский, поразмыслив, нет, не делает что-то, а непременно трилады! А хорош-то как! Колоритный, на полотно стрелит! Принцип спокойный, степенный. Только откуда эта готовность шапку ломать — с тайной мыслью бежать в шапку разбойничью и там уж задать жару!

В русской ли это характере, что все мы — мятужники, и скрежет зуповный нам привычен, и терять нам нечего?

Русь...

Древнее слово, такое же древнее, как и слово «смуга»

Натурально

Большой, шумный и веселый, он вошел в ресторанчик с котелком и тростью в руках — атрибутами скорее экзотическими, нежели дополняющими джинсовый костюм с расстегнутыми пуговицами. Обшарил зальчик взглядом. Весь нараспашку, как его рубаха, обрушился на стул напротив меня, вздохнул богатырски, явно желая лучшего собеседника, зашепестел купюрами, махнул официанту рукой.

Вид купюр возымел свое действие — бутылка водки на столике появилась мгновенно. Посетитель, пренебрежительно покосившись на рюмку, налил до краев фужер и выпил его залпом. Налил второй, пододвинул ко мне:

— Пей!

От него пыхато здоровьем, будто жаром от пещи. Не знаю почему, но я пригубил водки.

— Не уважаю! — огорчился он.— Натурально! Не по-нашему это, по-ихнему!

Он махнул головой неопределенно, куда-то в сторону океана. Обиженно опростал второй фужер, ладонью у рта помахал, потом подпер ею голову и уставился на меня.

— До-о-ма... — прогудел тепло.— Слышь ты, дома! Понимаешь?

— Как не понять...

— Да нет, не понимаешь ты. Натурально! Я в первый раз на теплоходе ходил и, понимаешь, последний. Решено. Баста! Назад, на траулер! Не могу больше! Ты бы выпил...

Заглянул мне в глаза, решая, стоит ли травить дальше, решил, вероятно, что стоит, потому что больше не останавливался:

— Ничего теплоходик, беленький такой, но внизу-то, в машинном отделении, один черт. А вот как наверх подымаешься, дико! — Наполнил очередной фужер.— Вот представь, сидят себе в баре, что-то с водой содовой и со льдом тянут... Ну, там, виски или еще что, оно понятно, оно там и сделано так специально. что много не выпьешь. Но и водку, понимаешь, тоже тянут. Продукт чистейший, качества уникального. Чего тянуть-то? Увидел, понимаешь, и, чувствую, обида за державу берет. Ну чего тянуть? Стал толкаться с обиды. Иду и толкаюсь. Специально, бывает, мимо кают проаживаюсь, просто толкаюсь, и все! Обидно. Ну и что ты ду-

машь? Улыбаются! Другой раз хорошо толкнул — а все равно улыбаются, нет чтобы мотом!

А как-то неут толпой навстречу, бутылочку гашет нашей, особой, водичку фужерчки. Я нагости набрался, дурною ягородил, давай, мол, наливай, покажу, как надо, — объясняю. Улыбаются и наливаю. Чуть-чуть. Показываю, полныи надвигай! Удивляеся, но наливают. Ну, я им покажи! Три фужера подряд, не поморщившись. Чуть глаза у них не полопались, рашен волка. А у меня обидя такая, что ни в одном глазу! Уж и не знаю, сколько бутылок им вить пришлось, пока моя обидя не рассосалась. Потом встретят — к стенке прижимаются, завыважи, значит!

А вот еще бассейи на теплюшке. Водичка — слеза, песинку на дне вино, жара опять же, кунакися, нагурально, загорают, в волебол играют. Я и сам в карточку поиграть любитель, как приложусь.. Ну, глазу в смысле бабы. Стронные такие все из себя, ну, я и смотрю. У нас тоже на тавже играют. Смотрю одной в спину и, понимаешь, натурально, лямочки на спине не вижу. Екнуло у меня что-то, на другую смотрю, на ту, что с первой играет, ну и передком ко мне, значит. Обомлел. И — к себе, в машинное отделение. Ребятам рассказываю — хохочут. Прошел манараж, решил я снова прогуляться. Любопытно все же. Ну, как играют. Бабы, опять же, красивые. Мужики мимо ходят — и ничего, никакого внимания...

Короче, иду, гуляю, глаза скосил.. Как тебе объяснить? Думал, снова разворочаться придется, а оказалось, наоборот, остал совершенно. В чем, думаю, причина? И вдруг деню до меня. Сладости в них нет, прыжок за мячом, натурально, ну и грудь у них, ясно, тоже прыгает, тряется. Я и гонял, почему мужики на них внимания не обращают. Неприятная картина, срам. Может, женщины эти совсем обратного хотели, может, думали, вот, мол, мы какие, а все наоборот получается. Красивые то они красивые, а только грудь бестолково трепыхаться не должна. Так мне кажется. Женщина, она, понимаешь, свою грудь преподнести должна, попать ее так, чтобы у мужика при виде ее слюнки бы потекли, как у младенца! Ну, и может она когчматься слегка, колычаться, а не трястись. И натурально, даже жалко мне этих баб стало. Ну, чего добились?..

Выговорившись, он приблизил голову, заливая в себя содержимое фужера.

— Ну, пора дальше. Это я так, для поднятия тонуса, пока до дома не добрался...— Подхватил трость, котелок — и был таков.

Я выглянул в окно понаблюдать, как он будет идти по улице в своем странном наряде. Он и не думал идти. У входа в ресторан стояло три такси. Так вот, в одно он положил трость, в другое бросил котелок, в последнее уселся сам, и кавалькада тронулась в путь.

Я подумал, что, если по дороге ему попадутся цветы, он непременно наберет их столько, чтобы на заднее сиденье навалом насыпать, и, конечно же, возьмет для этого четвертое такси. Натурально!

Счастливички

Рассказ

Если бы все жители барака одновременно вышли в коридор, пестрая и разновозрастная толпа заполонила бы его так, что трудно было бы повернуться. Но практически этого не происходит. Первыми выходят в коридор сердитые мамыши писклявых малышей, не согласных со счастливой участью посещать ясли. Чуть позже деловито топают их папаши, еще позже одновременно хлопает несколько дверей сразу, раздается топот легкий и быстрый, приветливые шлепки портфелями — школьники идут в школу. Ну и самыми последними, важно и степенно, вышагивают пузатые самостоятельные карапузы — счастливички, которым нукула не нужно, потому что в школу им еще рано, а с садиком всегда проблема, но они на это не в обиде.

Все. В бараке никого больше нет. Если не считать тараканов — самых многочисленных его обитателей. В бараке не так легко найти что-нибудь съедобное, но тараканы живут и процветают. С ними ведется борьба. Во-первых, с помощью плакатов, время от времени вывешиваемых на стенах. Жители барака на плакаты внимания не обращают, а для тараканов они даже хороши, поскольку шели за ними удобны для гнезд чрезвычайно. Иногда, конечно, кос-кто взрывается, и начинается травля. Однако взрывы эти носят характер малоорганизованный, и тараканов от уничтожения спасает кочевой образ жизни, который они с успехом и ведут с момента заселения барака.

Между тем счастливички уже на улице. Их двое. Они жмутся под ярким солнцем и некоторое время недвижимо стоят, адаптируясь к новым условиям. На дне у одного из них на тесемочке ключ от витальной двери, зато у другого в кулаке монета достоинством пятнадцать копеек. Наконец счастливички начинают вожделенно поглядывать на угол улицы, где обыкновенно появляется мороженщика с лотком. Они не спешат туда пойти, а гадают, почему сегодня мороженое по семь копеек или по тридцать? И будьте уверены, что счастливички, едкого не смысля в математике, отлично понимают разницу в цене. Не подходят же они к мороженщице потому, что в душе у них теплится надежда купить мороженого больше, чем вчера, и отнять у них эту надежду так же трудно, как и пятнадцать копеек. Все же идет, ожидание становится нестерпимым, счастливички надрываются к лотку. Вначале медленно и степенно, как подобает людям, располагающим определенным капиталом, но незаметно переходя на спортивную ходьбу Я бе.

Им не везет сегодня. Шурушит бумага, мороженое — всего одно на двоих — обжигает холодно и, скрипя, отваливается пол зубами блестящими белыми кусками.

Прямо около лотка гудит нетерпеливая мужская очередь. Пивная еще закрыта. Очередь нервно подкапывает в сторону громкоговорителя, укрепленного на столбе, будто он виноват в том, что не начинается последняя изаestia. В общем, скоро «страза проснется». Счастливички это знают и усаживаются на почтительном расстоянии от очереди. Многие в ней им знакомы, однако припавших кулирок не видно. Счастливички прикидывают, кто на этот раз может угостить их мороженым.

Входные двери распахиваются, толпа оживленно исцеляет внутри пивной. Малыши терпеливо ждут.

Первым из пивной пытается выйти осклизлый мужичок с носом сиреневого цвета. В самых дверях его толкает обратно невдомая сила, мужичок едва стоит на ногах, поэтому не успеет повернуться к этой силе лицом и грохнется спиной на пол, его торчком подхватывают пол руки и швыряют на улицу, где он немедленно засыхает, прилипнув спиной к стене. Но это уже не интересно.

Ага! Пот на улицу выхлещет трое. Один из них многозначительно смотрит на другого и нетерпеливо мигает:

головой, явно предлагая отойти. Но ему мешает третий. Откуда только взялся! Наконец нетерпеливому надоедает бесплодное мотание. Он откровенно говорит:

— Пшли...па-сс лам...

Двое крепко стоят, образуя между собой угол, недоуменно смотрят на нетерпеливого.

— Ч-че-о-о!

— А то! — Нетерпеливый тычет в одного из них.— Ты мне выпить дал? Дал! Морду набить просил? Просил! А я на халяву не пью!

— Я п-шутил...

— Ну, шуточки! — горячится нетерпеливый и норовит друзей разъединить.

— П-шутил! — упирается второй, но нетерпеливый настойчив.

— Будешь мешать, сам в морду получишь, по-л? — грозит он.

— Да ну вас! — машет рукой второй.— Пшли выпьем, там и разберемся!

Алкаши замирают. они, похоже, удивлены, что такая простая мысль так долго не приходила им в головы, встряхиваются, как воробьи возле лужи, и снова исчезают за дверью пивной. Малыши вздыхают, им явно не везет сегодня.

Вдруг за их спинами раздается свист. Карапузы оглядываются и видят, как им призывно манут руками старшие пацаны. Польщенные столь высоким вниманием, счастливики срываются с места.

— Что, пузаны, мороженого хотите? — спрашивает их сам Аргок, царственным жестом вынимает мелочь из кармана и небрежно швыряет на лоток. И вот уже в руках у малышей, ошалевших от счастья, по мороженому.

— Пузаны, — говорит Аргок, когда мороженое съедено, — возле пивной спит пахан вот его.— Он выбирает наугад одного из своей свиты.— Вы уже взрослые и должны соображать, что если его пахан все деньги не пропьет, то их у него выпянут, один черт получится — семье ни шиша, сечете? Вон у него уже и кошелек из кармана вывалился, ну-ка, тащите его сюда!

Малыши наперегонки несутся к пьяному, что спит у пивной, хватают кошелек, действительно вывалившийся из кармана, и бегут обратно. Аргок открывает кошелек шикарным щелчком.

— Да, осталось еще детишкам на молочишко! — До-

стиает засаленную бумажку, протягивает малышам.—
Нате ка, один черт, пропал бы!
Мамыши с трудом верят свалившемуся на них сча-
стью. Ну, дела! Ну, Арток! Да они теперь, да за него!
Мальчиши просто не в состоянии всего выразить, не на-
ходят слов.
Может быть, позже найдут, когда подрастут.





УЗОРЫ
ИЗ БИСЕРА

ЕЛЕНА ХРАПОВА
(г. Мегион)

Сенокос

Сенокос, сенокос...
Ветер песню принес
Из далекой и щедрой поры,
Песню звонкую кос,
Легкий шелест берез...
Все ушло, как в другие миры.
Вижу, как сквозь туман,
Косарей вольный стан,
Травы спелые пахнут росой,
В обрамленьи лучей
Словно бог — и ничей,
Для меня всех милей холостой...
Вот идут чередой,
Впереди — молодой.
А глаза — и дерзки, и нежны.
Как прокосы ровны,
Как же песни дружны,
Как мечты весслы и хмельны!
Сенокос, сенокос!
Отдых — руки вразброс,
Шутки с перцем, как чтут косари,
Танцы тихие звезд,
Поцелуи взасос
Под душистой скирдой до зари...
Вижу все, как сейчас,
Дым костра режет глаз...
Но кто ж в белом за ними идет?
И коса на плече,
Леденеет ручей,
Косари все уходят вперед.
Все удалы, сильны,
Все беспечны, волюны...
Но судьба тоже машет косой.
Только песни да сна
Им остались верны.

Только в грезах живи тут —
Холостой.

Меж мирами

В огне еще скользю по грани
Тончайшей — между мирами:

Меж миром надежным, прочным
И ветрено-неуверенным,

Меж каменно-неделимым
И вечно-изуловимым

На грани много печали
О краткосрочном причале.

Граничит разгул с моралюю,
Знакомые тропы — с дальюю,

Ясность — с непостижимым,
Разлука — с нерасторжимым.

Здесь все есть — и быть, и небыть,
Два мира: земля и небо.

А я скользю меж мирами,
Пользуюсь их дарами.

Земля насытит хлебом,
А песней щемящей — небо.

Поэты

То ль отшельники, то ль изгой
С неприкаянностью в крови,
Подгоняемые тоскою
И рваных рубищах — короли.

Вам словесной призрочной ратью
Предназначено управлять.

Дар небес — это как проклять:
Не избавиться, не отнять.

Вы со счастьем всегда в раздоре,
Вы нелепее белых ворон,
Нервы общества, струны горя,
Слезы плакальщиц всех времен.

Вечен поиск святых ответов,
И бредут, о любви скорбя.
Кто же сможет, кроме поэтов,
Боль России взять на себя?

* * *

За любовь бы — все, что имею,
Но мне — пищей — нечем платить.
Потому глаз поднять не смею,
Чтобы твой покой не смутить.

Что отдать? Усталое тело
Да души истерзанной дрожь,
Груз обид — их много насело, —
И привычной ставшую ложь?
Нет, ты встретишь чище и тоньше.
Я печаль свою утаю.
О, мой взнос за любовь всех больше —
Я саму любовь отдаю.

НИКОЛАЙ КИМИЧАДЖИ

(с. Ларьяк)

* * *

Я художник-чулак,
Я не так, как другие, рисую:
Я кладу на листок
Нежный шепот и запах цветка,
И искрящийся смех,
И неясную тень поцелуя,
Что обещан был мне,
Но остался забытым пока.
Нарисую я дождь,

Что смывает всю подлость людскую,
Очищает нам раны
И не оставляет теней,
Сольвянную прель и конечно,
Тебя.
Да такую,
Что в сравненье с тобой
Даже радуга станет бледней.

* * *

Премии, посулы, позолота
Вежут по рукам и по ногам,
К совести не предъявляем счета,
К золотым привыкнув кандалам
Только, может быть, и счастья кто-то
В драгоценной клетке золотой
.. Настоящей может быть свобода,
Кушечная только нищей.

Серьезное

Прими мою печаль,
О прожитом допыне,
Где первая поцелуй
И горький вкус полыни,
И школьный золотой
Обманчивый звонок
Возьми себе мое
Исю нежность без остатка,
Что в предрасветной мгле
Дыхание таит,
Что робко и тепло
И чуточку украдкой
За легкий поцелуй
Тебя благодарит.
Возьми мою любовь,
Все, что еще осталось.
Ее близких мажешь,
Прошу, не обмани!
Прими мою любовь,
Коли она не в тягость.

Возьми ее и спрячь,
И помни... И храни...

БОРИС РОМАНОВ
(г. Нижневартовск)

Шашка

Я шашку у деда Авдея просил:
— Дозволь покрутить на дворе,
Плечо раззудить, малость выплеснуть сил.
Я резвый всегда в октябре.

— Отставить! — сказал было мне атаман.—
По такой темной поре
С горилки себе понаделасшь ран.
Иль псу, что сидит в конуре.

Но хлопнул хозяин на это рукой:
— А что? Пусть покрутит пойдет.
Но там, от ворот чтобы недалеко,
А то все белье изорвет,

Которое здесь на веревке висит.
Пушай! А горилка — пустяк.
Оружьем махать не косяю косить.
Казак, он на то и казак!..

Он вынул из ножен клинок боевой.
Я, чуть оробев, его взял
И сердцем почувствовал день тот былой,
Где пел он, рубил и кромсал.

Не я ли с ним там, под Кушёвской, скакал,
Копытом знамена топтал?
Но то наважденье... Я место сыскал
И в стойку упругую встал.

На счет раз и два, три, четыре и пять
Повел потихоньку сперпа,
Потом побыстрее уж взялся вращать,
И шашка меня понесла.

Вразненье переднес, переверот,
Кинадальное выход, подкрут.
— Ах, елки, всю жизнь бы крутил у ворот! —
Но в дом казаки уж дозвут.

— Да, крепкая каша у тебя, молодец! —
Скажи мне, диковыно Андей! —
Пойди Никогавны кушать боршец,
Айда, а то даст нам черте?!

Я нехоту в ножны вставляю клинок,
Крестясь, осушаю бокал,
И песня динхя летит в потолок
О том, кто по Дону гулял.

Беловодье

Когда околица замрет
И ночь задернет шторы,
С конем и шапкой из ворот
При башлаке и шпорах,
И нуть неблизкий я начну
Сквозь снег ли, в июльицде
В одну прекрасную страну
С названием — Беловодье.
Там, на востоке, среди гор,
За морем, за лесами
Страна прозрачных озер
Лежит под небесами.
Там нет печалей и невгод,
Там нет прожлы и злобы,
В долинах лето круглый год,
А на горах — сурропы
Там люди добрые живут
По православной вере
В озерах лебеди плывут,
В садах гуляют звери
Туда лежит нелегкий путь
Сквозь орды и коньсы,
На тропах душицы жагут,
Засады на деревьях,
Но я от пули ускоачу,
А вырвется :оводья —

Дойду, пролезу, просочусь,
Я верю, в Беловодье.

МАРИНА ДЕН
(г. Радужный)

Освободи

Среди шмяшай пустоты
и немоты, и тесноты,
Среди разлук, ненужных встреч
меня найди.
Проникни в помыслы души
и ими, как и я,— дыши,
И боль мою смсти, как смерч,
освободи...
Перешагни через упрек
и осуждения оброк,
Утешь усилием одним —
сумей простить.
Пусть я — таинственности друг.
прочти в глазах мучений круг,
И вместе вмиг перегорим —
умей любить.

ИРИНА ГРИБЕНЮКОВА
(г. Нижневартовск)

Мой милый

Милый мой, милый мой, милый мой,
Скоро прольются дожди,
Ты о прощанье, прошу, мне не пой,
Не уходи, подожди.
С первым лучом забурлит небосвод
Утром нового дня.
Сколько приятных мыслей. забот
Ты бы принес для меня.
Голос мой полон тоски.
Если б ты знал — от любовных оков
Сжало болью виски.

Если бы ты знал, что, закрыв за спиной
Так осторожно зверь.
Милый мой, милый мой, милый мой.
Ты одинок теперь.

* * *

«Отчего ты сегодня счастливая? —
Удивляются все вокруг. —
Отчего взрослой и красивой
И лицо, и движения рук?..»
Я молчу, улыбаясь ответно,
В сердце грусть и тоску затаю.
Этот пасмурный день,
день бесцветный,
Самым радостным стал для меня.
Оттого, что мы под руку, рядом,
По дождливым прошлись
тротуарам.
Лишь игнобенье,
и больше не надо,
Чтоб узнать, что живешь ты
недаром.
Я ждала, я мечтала об этом.
Знала все, ведь мне сердце
сказало,
Что бывает на белом свете
И минутки совсем не мало...

АЛЕКСАНДР НОВИЦКИЙ
(г. Лангсше)

Таяжные ночи

Мы у таяжного костра
Сидеть головы до утра,
На ты мы с комарами.
Ну, спи, гитара, будь добра.
Чтоб веселее, чем вчера,
Плясало пламя.
Нол песню из глубин души
Так эти ночи хороши

В тайге притихшей!
Играют кедры с ветерком,
Смешалась музыка с дымком —
Парят все выше.
Забыв, в столетии каком,
Мы ждем картошку с угольком —
Наш ужин поздний.
Рюкзак подушки мягче стал,
Но ты не спишь, хоть и устал,
Глядишь на звезды.
Что перед сном тебе сказать?
Смотри, какая благодать,
Какое чудо!
А завтра нам домой опять,
Где эти ночи вспоминать
Мы долго будем.
Когда же снова всей гурьбой
Мы разобьем палатки?
Недолго нам осталось ждать,
Ведь так охота вновь вдыхать
Тот воздух сладкий!

* * *

Прижмусь пылающей щекой
К стеклу, что в дождсвых потеках.
Как я посмел, как мог до срока
Обречь себя вдруг на покой?!
Там, за окном, пока дожди.
Пройдут они — начнутся вьюги
И в проводах такие фуги
Исполнят вам, что лишь держись!
Возьму-ка я в шкафу свой плащ,
Свой старый добрый плащ лорожный,
Прикрою двери осторожно,
Чтоб не услышать женский плач.
Шагну знакомую тропой
На незнакомые дорожки —
Хотя и боязно немножко,
Но все же лучше, чем покой.

АНАТОЛИЙ ФИЛАНОВСКИЙ
(г. Мезон)

* * *

Как это все перенести
И бездумно наше тироприно?
Решить уехать из Москвы,
Чтоб искупаться в летних ливнях,
Проплыть ночью Ангарий,
Читать в бездонном небе звезды,
Твое плечо своей рукой
Сжимать И чувствовать: не поздно!
Еще не поздно обо всем
Подумать, все переначить,
Еще не поздно знойным днем
Искать в пути родник удачи,
И чтоб хоть раз напиться властью
Меж каждодневными зетами,
Надолго к роднику припасть
Потрескавшимися губами.

* * *

Он все, конечно, знал,
Он ясно видел крест,
Он чувствовал, как кровь
Стекает на зашнурье,
Чуть щекоча ладони,
Он видел даже блеск
В глазах людей внизу,
И в них светилось счастье.
Он все, конечно, знал,
Уже назначен срок
Пред Истиной предстать
Ребенком — перед Богом,
И в Воскресения час
Он кипит, как итот,
Нам Веру, словно кость,
На льдистую дорогу,
Он все, конечно, знал,
Мгновений тетица
Нагнула уже.

Сомнений час — откуда?
В запасе ровно год.
Бьет полночь — тридцать два.
Стучат. Ученики.
Один из них — Иуда.

ВАЛЕНТИН
ОВСЯННИКОВ-ЗАЯРСКИЙ
(г. Нижневартовск)

Негаснущие зори

Негаснущие зори
Горят над Самотлором,
И сердце не стареет
Моей большой земли.
Ташенные просторы
Притягивают взоры.
Здесь руки человека
Мощь крыльев обрели.
Негаснущие зори
Горят над Самотлором,
Любовью пламенсют
Людей простых сердца.
Сибирские просторы
Нельзя окинуть взором,
Как волны в океане,
Которым нет конца.
Негаснущие зори
Горят над Самотлором,
Здесь топей не страшатся
Друзья-буровики.
Мы верим: будет скоро
Большой прекрасный город!
Столицей Самотлора
Его мы нарекли.

ЛЮДМИЛА ТИМОФЕЕВА
(г. Покачи)

* * *

Шелком невесомым
Утренний туман
Облакает деревья
И обвил их стан.
Словно одурманен
Нежной тишиной,
В золотом сиянье
Лес стоит хмельной.
В ожиданье тихом
Воздух задремал.
А туман, колышя,
Сказку навевал.

ЛЮДМИЛА МАНЧИНОВА
(г. Нижегородск.)

* * *

Видит рой чужих стайков
Над головой моей уставшей,
Нерезкий звук чужих шагов
Теряется в листьях опавшей.
Шум пронесшихся машин
Уже не слышит слуха,
Свечение фар и шорох шин
Как из тоннеля — глухо-глухо
Иду одна. В ночи — звезда
Невысоко, почти на крыше.
Осенний воздух вкуса льда
Шенком бродячим губы лижет...

* * *

И у меня была Москва,
В ней — тополиный пух стелюю
И листья жаркою волною
Чуть утомленная — листья.

Стихи! В метро и на ходу,
В колнах узких переулков,
Где каждый шаг как выстрел гулкий
В затихшем на зиму саду.
И ночью мокрых фонарей
В асфальте черном отраженья,
И напни смутные броженья
Вдоль улиц — или жизни всей.

* * *

Охладевшее лето.
Приближение ночи.
К оконной рамс прилеплена скотчем
Картина: березы на фоне крыши.
Возьмем фломастер. Картину подпишем.
И, не дожидаясь шумных оваций,
Станем картиною сей любоваться,
Поскольку и рама, и то, что за нею,
Делают сердце наше нежнее.
С утра умилимся красотам природы,
К полудню восторги рассеются вроде,
Но с вечером вечная благодсть утишит
Дневные попытки прорваться за крыши.

ВЛАДИМИР ВИНИЧЕНКО
(г. Лангепас)

* * *

Венчала музыка в ночи
Финал сюжета.
И не хватало от свечи
Тепла и света.
И полусумрак был вокруг,
Он плыл картинно.
И тени прыгали от рук
Смешно и длинно
По синим шторам, по стене,
Темня обои.
И сердце плавилось во мне,
Давало сбои,

Сметая мысли, впрямь
Ид в круюверти,
И опустевшая душа
Искала смерти.

* * *

За невидимым забором —
Темнота и неуют,
И кузнечики по норам
Песни грустные поют.
За невидимым забором —
Мой смертельно спящий дом,
С нездвинутым запором,
С покосившимся крестом,
С недоломленным сором
По обшарпанным углам...
За невидимым забором
Плачет молодость моя.

ТАИСЯ АДАРТАСОВА
(г. Мезон)

* * *

Упаду на колени пред Господом,
Возвлеку руки к небу, к Всевышнему:
«Боже мой! Ты услышь меня!
Я слепой была, хоть и видела,
Я глухой была, хоть и слышала,
До седин дожила и не думала,
Что зря жизнь прожила я без Господа».
Упаду на колени в молении
И воскликну я: «Боже Праведный,
Не гнись на меня, моих детушек,
Ты прости нам грехи, спаси душечки,
Наставящие нам дай, откровение».

Открой мудрость Свою, пути истины,
Начи нас жить в благодетелии,
Укажи к правде путь, к правосудию,
Утоли жаждущим милосердия,
А сердца обожги жадным знанья.

Путь Господен — путь к познанию,
Слово Божие — слово мудрости,
И сынам моим Ты прибежище».

АЛЕКСАНДР ФИЛАТОВ
(г. Покачи)

* * *

Мне не надо много,
Лишь бы пели птицы.
Ходим все под Богом,
Может все случиться.

У меня есть небо
Со звездой падучей,
Есть краюха хлеба,
Так, на всякий случай.

У реки встречаю
Ранние рассветы.
На волнах качаются
Блестки-самоцветы.

Вон моя дорога.
Ягода в горсти.
Все равно ведь много
Мне не унести.

* * *

Все так же, как было, все то же
Ворвалось из прошлых картин:
И вешалка та же в прихожей,
И те же узоры гардин.

Все то ж покрывало кровати
И белая скатерть стола.
И строго глядит Богоматерь
С того же святого угла.

Все так же, с того же комода
Будильник мне шепчет: «Тик-так...»

Ничто не заглушило тоды —
Все было, осталось все так.

Все так же легко и бескрыло
Влетает в окошко рассвет.
Все так же, все то же, что было...
Лишь мамы уже больше нет.

ОКСАНА
АБРАМОВСКАЯ-ВЕЛИЧКО
(г. Мегюв)

* * *

Посадили. Ну вот они, всходы...
Пожиайте, если не страшно.
Только я все рублю под корень
И молю, чтобы все не напрасно.
Я рублю пожелтевшие стебли,
Я крошаю увядшие листья,
Очищаю нутро от полни,
Чтобы вырастить сад в этом месте.

* * *

Дом за ребрами брошен,
Окна без стекол — глазницы,
На них кресты.
Этот дом без хозяйина,
Хозяином надо роляться,
Но им можешь быть ты.
Поставь новые рамы:
(«ключики выдувают тепло,
И двери скрипят.
Растопи в доме печь,
Пусть тепло от нее согревает
И тебя, и меня.
Я — заброшенный дом,
Мне самой неуютно и страшно —
Холодный мрак...
Ты сюда не зайдешь
Никогда, никогда —
Это так...

СВЕТЛАНА КОВАЛЬЧУК
(г. Радужный)

* * *

Ровно семь. Звонок. Откройте.
Чинный, семьями, обед,
И глаза твои напротив,
Дым хрустящих сигарет.

Незмное притяженье
И судьбы вселенской свет,
В чью-то тайну посвященье
И нарушенный обет.

На столе свеча горела.
На рояле Бах играл,
Я влюбиться не хотела.
Бунин. Солнечный удар.

* * *

Я писем от тебя не жду,
Они потеряны в дороге.
Боль разрывает тишину.
И многоточье в эпилоге.

Я больше не приду в твой сон,
И совесть молча не осудит.
Мой дух бесплотен, невесом,
Не шелохнет портьеру буден.

В слезинках плещется печаль.
Печальны стылые закаты.
Шепчу подушке: «Очень жаль,
Что пред любовью виноваты».

* * *

Я постигла вселенскую мудрость,
Отыскав ее в каплях росы.
В перламутровых кудрах березы,
В огнесдышащей лаве грозы.

Я постигла ее, и я слышу,
Как журчит в белоснежной дали
Робко первый ручей, смех проталин
На ладошках свищенной земли.

Я постигла печаль и измену,
Нежность, гордость, любовь и обман.
Все, что вечно во мне, истинно,
За все золото не отдам.

Я постигла ее, и я плачу,
Есть кто-то судьбою голим,
За мечтою несбыточной скачет,
На земле несложим, нелюбим.

Продирался сквозь страсти пространство,
К звездам долгой дорогой идти.
Слет вселенский, во мне не погасит
Дай мне силы в любви прорасти

АННА КОМКИНА
(г. Лангевас)

ЭТЮДЫ

О жизни

Вокруг жизни разливается никогда не бледнеющими
красками Солнце, яркое и всеобъемлющее. Оно согре-
вет. Нежно и заблудливо. И море манит нас своими
тайнами. И ветер ласкает настойчиво. Он подчиняет
нас, захватывает. А еще есть небо, до бесконечности
высокое; звезды, далекие и заораживающие; весна, све-
жая и прохладная. Они вместе забываются, мигают,
радулись, ненавидят и, конечно же, любят. Любят эту
ничего не являющую частицу какого-то непостижимого
и недоступного, бесконечно водоворота. Любит чело-
века. Иногда они сердятся и заставляя его почувство-
вать ледяное дыхание одиночества. Но потом все воз-
вращается на круги своя. И облака вновь становятся
розовыми...

О дружбе

Почему люди не могут быть счастливы без друзей? Почему всегда нужен кто-то, кто выслушает, посоветует, просто улыбнется вечером, просто побудет рядом? Почему нужен тот, с кем быть легко, с кем чувствуешь себя свободно?

Человек, у которого есть друг, почему-то уверен в вечности дружбы. А ведь она не бывает вечной... Да, она согревает, когда холодно; просит улыбнуться, когда грустно; может научить, когда непонятно. Но однажды она исчезает. Навсегда. Кто-то убивает ее. И появляется Одиночество... Оно внезапно приходит к людям и подолгу их не оставляет. Оно навязчиво вторгается в когда-то слепившую красками жизнь. Прокрадывается так неожиданно, что не остается времени убежать. Оно заставляет человека забиться в угол и почувствовать свою беспомощность. Оно уносит из его жизни все, кроме монотонной грусти и печали. Оно убивает надежды. Оно не делает одолжений.

Но кто-то, ощутив Одиночество рядом с собой, не ужасается и не пытается его отторгнуть. Кто-то понимает, что ему — Одиночеству — самому очень-очень одиноко и больно. Оно палевает на себя маску насмешливого равнодушия, а на самом деле хочет понимания. И когда кто-то это осознает, Одиночество становится его другом.

Они всегда вместе: в раздумьях и мечтах, в сероватой грусти и непонятной, необъяснимой тоске о том далеком, что смутно виднеется в голубой бездне. Они вместе делят победы, взрывные мгновения счастья и ослепляющую радость встреч с солнцем, вместе поднимают руки и просят луну улыбнуться.

Кто-то счастлив этой своей дружбой — такие друзья не расстаются и не перестают быть друзьями...

О свободе

Они такие разные, хотя все похожи. Они совсем незаметные, но если посмотреть на них, то уже трудно отвести взгляд. Казалось бы, им можно позавидовать — они летают в необъятном пространстве, а на самом деле

вовсе несвободны. Они похожи на людей — всю жизнь мечутся, подобно стайке птиц, гонимых ветром. Облака. Они — рабы. Их жаль, как и всех остальных.

Нель остальные люди, тоже несвободны, хотя большинство из них твердо убеждены, что обладают ею, ускользающей из рук хрупкой мечтой — свободой. Мало нужно для этой их уверенности: иллюзия независимости от чужих по утрам, воскресных прогулок, денег, миссии, друзей, предвзвешено... Иногда они глумятся, что способны не испытывать любви и ненависти, но любовь к себе — та же любовь, а уж в этом никто себе не отказывает. Некоторые даже выпущают смельчаться над собой, воображая себя властителями времени и пространства. Эти люди глубоко несчастны и желуживают сострадания — они безнадежно пытаются убедить себя в отсутствии реальности. Свобода для них — все равно что маяк прозрачной голубиной море для того, кто всю жизнь бродит по пустыне с бессмысленными дюнами. Эти люди не могут судить о свободе, потому что не испытали, да и никогда не испытуют ее вкуса. Кто знает, может быть, он приорити слух или похож на сок несозревшего лимона, может, мгновенно охнет или, напротив, заставляет мыслить. Но, не попробовав его, люди просто не имеют права судить о том, которая обладает ими, — о свободе.

Свободен лишь стремившийся куда-то ветер, и только там с тобой доступна его дружба.

О любви

Любовь не может быть бессловесной или кричащей, невинной или страстной, величественно-спокойной или бурлящей, словно горный источник. Любовь не может быть наивной, неземной, обжигающей... Любовь не может быть вечной и... идеальной.

О любви нельзя думать всерьез — она незаметно уходит, когда на нее начинают обращать внимание. О любви нельзя говорить вслух — это пугает того, кто слушает, и разочаровывает того, кто пытался быть откровенным.

Любовь не нужно беречь и невозможно сохранить. Любовь — как водопад. Течет, набирая силу, обрушивается на человека всей своей мощью и... разлетается в бесконечность едва заметных капель.

ГАЛИНА ЧЕПЕЛЬ
(г. Меггюн)

* * *

Я верю в очищение души
Путем страданий, горя и лишений,
Путем невзгод, обид и унижений,
Я верю в очищение души.
Я не приемлю ненависти, зла,
Мне также чужды зависть, месть и лживость,
Я иногда колючею была,
Но упаси Господь мне быть фальшивой.
Мы все приходим на какой-то срок,
И на земле никто не остается.
Так стоит ли запасы делать впрок?
Пусть лучше песней жизнь твоя зовется.
Мне дай, Господь, немножечко тепла,
Немного хлеба и немного соли
И сделай так, чтоб с верою жила,
Убереги детей от горькой доли.
Мне дай услышать милый детский смех,
Здоровья дай всем дальним и всем близким,
Молю тебя, Господь, прошу за всех
С глубокой верою, с поклоном самым низким.

ВИКТОР МАЛАХОВ
(г. Лангепас)

* * *

Иду от восхода к закату
И думаю очень резонно:
«А что там сокрыто за кадром?
Что прячется за горизонтом?»
Кого-то в дороге встречаю
И с кем-то сажу на привале,
Его восхищаясь речами,
Внимая его дарованиям.
И пусть ему будет дороже
Все то, что с ним позже случится:
На тропке лесной — подорожник,
В кустах — осторожная птица.

А я не останусь в обиде,
Меня ведь проняли деревья,
Которых я больше не видел.
Не счастье ль такое забвенье?..

* * *

Отчего мое молчанье
Так надолго затянулось?
Что бы это означало,
Чем все это обернулось?
Или я писал не к месту
И произносил некстати
И поэтому в отместку
Свой неяркий дар утратил?
Иль, соскучившись по строчкам
И по голубе печалью,
Получил я в час урочный
Превосходный дар молчанья?
И теперь пред иной на выбор
Два прекрасных продолженья:
Промолчать всемо либо
Сочинить стихотворенье...

ЮЛИЯ ИВАНОВА
(г. Покахчи)

Наш день

Какое утро! С прошлым несравнимое.
Давай им праздник в честь него устроим.
Я стол накрыю — вещь необходимая,
Рабулим дочку, пусть нас будет трое.

Желанье жить, ничем неистребимое,
Пусть не оставит нас ни на мгновение.
И мысль о том, что я твоя любимая,
Мне снова поднимает настроение.

Вот сумерки. Сейчас они враги мои —
Зачем же резать день напополам?
Но мысль, это лето поправимое:
Я занавески в стороны раздвину.

Чтоб солнце, словно пятнышко родимое,
Вдруг разрослось на западе пожаром.
Оно, по-женски гордое, ранимое,
Под вечер выглядеть не хочет старым.

Законы времени неоспоримы,
Как ни шути над ними виртуозно.
Мне все равно, ведь я твоя любимая.
А это, что ни говори, серьезно.

И будет ночь. И ниточка незримая,
Которой целый день я вышивала.
Узоры сотворит неповторимые.
... С утра начну я вышивать сначала.

Мужу

А давай проснемся в понедельник
Где-нибудь под кроной дикой сливы...
Я могла б сказать тебе: «Бездельник!»
Да неправда, ты — трудолюбивый.

Или так: проснемся в среду ночью,
Сапоги, плащи — и на рыбалку.
Тишину мы разорвем на клочья,
А ловить не будем — рыбу жалко.

Может, мы проснемся в воскресенье
В пять? И в лес пойдём за грибами...
Нет тебе, мой ласковый, спасенья —
Ты не знаешь, что там, за лесами.

Забредем с тобой в душистый ельник,
На кедровые заглянем гривы,
А потом проснемся в понедельник,
Где-нибудь под кроной дикой сливы...

ГАЛИНА НОВИКОВА
(р. п. Новогаганск)

Чудо

Новелла

В квартире Мельникова поселилось Чудо. Он никак не мог понять, как это случилось. В один из обычных, скучных дней он пришел с работы, снял пальто и прошел в комнату, чтобы включить телевизор, и только тут заметил, что вся квартира погружена в золотистое сияние, которое исходит от сидящего в углу странного существа. Оно было похоже на женщину, только за спиной у него колыхались роскошные золотистые крылья. «Чудо» — решил Мельников и вдруг увидел в новом, желто-зеленом свете весь мир, квартиру и даже собственную душу.

Чудо раньше жило в сказочном замке. Днем оно спало, а по вечерам расправляло крылья и летело излучать свет. Оно было для всех и было счастливо.

Но однажды Чуду стало очень одиноко. Светить для всех, ни к кому не приближаясь, так мучительно! И оно начало заглядывать в окна, в надежде встретить того Единственного, кто захотел бы навсегда слиться с его светом. И вот फिर оно отыскало Мельникова.

Мельников считал, что не верит в Чудо, но сейчас, когда оно было так близко, осознал, как ждал его.

Для него и этой необыкновенной женщины настали счастливые дни, озаренные желто-зеленым светом. Мельников уже не боялся Чуда. Он мог прикасаться к его волосам и крыльям. Оно завогнуло всю его жизнь и квартиру.

Одно только беспокоило Мельникова — иногда Чудо исчезало, чтобы светить всем.

И, уходя из дома, Мельников размышлял, как сделать, чтобы женщина с золотистыми крыльями принадлежала только ему. Дома он не думал об этом, чтобы не обидеть Чудо.

А еще ему хотелось, чтобы желто-зеленый свет был слабее и не так ярко освещал его душу, а крылья чтобы были гомеонши и не занимали так много места в квартире.

И вот как-то раз, когда его сияющая любимая спала, он подошел к ней, чтобы подрезать ее крылья.

Чудо вздрогнуло и сразу проснулось. Оно догадалось обо всем. Ему хотелось остаться, но если бы крылья уменьшились, оно стало бы меньше сиять, а сиять и озарять было для Чуда главным.

И женщина взмахнула крыльями, вспыхнула ярче и растаяла.

В первый момент Мельников показалось, что он растворяется вместе с Чудом. Когда же он пришел в себя, то увидел, что любимой больше нет и все вокруг сделалось прежним. В квартире снова стало просторно и удобно, но из души и из жизни исчез свет.

И постепенно Мельников начал забывать о Чуде. Иногда он даже сомневался, что оно было.

Но как-то вечером он подошел к окну и далеко, на другом конце улицы, среди неоновых вывесок различил знакомое золотистое сияние. И в тот же миг в душе у него вновь затеплился желто-зеленый огонек.

Мельников теперь знал, что где-то всегда есть Чудо.

ВАЛЕНТИН АНДРИЕНКО

(г. Радужный)

* * *

Тихо... Немного печально...
Пятое сентября.
Мир — как огромная спальня,
Осени благодаря.

Всюду разлита истома,
Солнечно и тепло...
Нить с паучком невесомо
Мимо меня пронесло...

Сине безбрежное небо,
В нем — облачков паруса.
С ними умчаться и мне бы,
Да высоки небеса.

Просека в небо вонзилась,
От удивленья нема:
Нам с ней оказана милость
В синь окунуться с холма!

С радостью и истерленным
Мигом влечу на бутор!
Жаль, это лишь навеждыне:
Взмыл — и небесный простор...

Что это, Боже, со мною?
Может, мне свыше дано
То, что небес синвою
Я окладован давно...

Что-то взгрустнулось немного,
Солнышко греет слегка,
Вьется срьь осенн дорож,
Тихо плывут облака...

Блажь

Я когда-нибудь, может, уеду
И расстанусь с занозой-тоской,
Опержав над нуждою победу —
Дан-то Бог, не на вечный покой...

Там зимой не такие морозы
И в садах — сумный рай по весне!
Там — думяные летние росы,
Осень краше в родной стороне...

А веснк дерзновенное чудо?!
Буйство зелени, крисок, цветов!
Ароматы плывут отовсюду —
Из окрестных и дальних садов!...

... И стоит эта блажь в горле косяком,
Колет душу острой остроги:
Жить близ жесткого хлеба колосьев,
А не в мягких оковах тайги...

Мои далекие рассветы

(отрывок)

По утрам гудан над речкой
Жадно воду пьет,

Где-то конь звенит уздечкой
И призывно ржет.

Отчего-то тихо кричет
Утка в камыше,
И все так же ива плачет
Сотню лет уже...

Что плотней — туман, вола ли? —
Не понять пока,
И бежит, в туманной шали
Путаясь, река.

Гладь взметнуло, будто взрывом —
Жерех? Или бес?!
Подойдя, глядит с обрыва
Крепкодубый лес.

... Вон пастух мусолит «Приму»,
Стадо воду пьет,
И стрижи птенцов поднимут
В первый их полет.

Солнца спелым абрикосом
Греется вода...
Не расстаться мне с вопросом:
Как попасть туда?

Запах скошенного сена —
Будто наяву!..
Мне не вырваться из плена,
Не упасть в траву...

... Уж впряглась в зимы карету
Стужа декабря!
Ждут меня мои рассветы.
Ждут, да, видно, зри...

ЕЛЕНА ЖЕЛТОВА
(г. Лангепас)

* * *

Ты — зеркало мое. Мой гнев и удивленье
Увижу, как всегда, в озерах глаз твоих.
Ты «Шпигель» помнишь, да? Иначе — отраженья.

Смешно мне — слышу смех, а грустно —
ты грустишь.
Когда-нибудь потом, когда промчатся годы,
Увижу на себе твоих морщинок след,
А волосы твои, как в знойную погоду,
Покроет сезины моей пушистый снег.

* * *

Я вам всем благодарна, кто в моей жизни был.
Кто любил меня — кто презирал, кто мне лести —
кто грубил.
Кто меня озарил и кто обокрал.
Кто мне правду — в лицо. И спасибо — кто врал!





И В ШУТКУ,
И ВСЕРЬЕЗ

БОРИС БОРОВИНСКИЙ
(с. Покур)

И ответится сердце

Эта ночь станет для меня бессонной и беспокойной. И не потому, что побоюсь проспать — будильник зазвонит вовремя.

Мне не заснуть от волнующего ожидания того, что предстоит испытать через несколько часов. Душевное томление сменяется тревогой за погоду: а вдруг она будет скверной? И тогда все мои приготовления окажутся напрасными...

В какой-то момент сон ласково убаюкал меня, и только океанный звонок будильника загавил вздрогнуть. Совершенно неохота вставать, а тут еще мелькнула желанная мыслишка о переменчивости погоды...

«Хватит валить дурака!» — приказал я себе и, наскоро одевшись, вышел на улицу. Безветрие и слабый морозец. Посмотрев на рассветный розоватый окоем и угасающие звезды, довольный возвращаюсь обратно. Жена уже хлопочет с завтраком и, как обычно в такие побудки, незлобливо выговаривает:

— Ему, видите ли, дома не сидится, а я должна из-за него в сумасшедшую рань подниматься...

Странное дело, но я никогда не просил жену помочь мне со сборами. Молча сношу ее упреки и думаю о своем.

Есть у сельского мужика одно увлечение, которому даже зима не досадная помеха, а наоборот, доброе подспорье. Немало приятных хлопот и волнений доставляет она заядлому рыболову-любителю...

Мои размышления прерывает урчание снегохода за окном. Жена «меняет пластинку», но главным виновником остаюсь я:

— Ладно, мерзни, если невмоготу, а сына-то зачем сманивасшь?

Но ей нехлбом, что сын, с детства увлеченный рыбалкой, сам стоворил меня «отвести душу».

Прихватив рюкзаки и термос, я исчезаю из дома

— Поехали! — кричу сыну, услышавши в наглы-прицеп.

За оклиней к нмн присоединяется гара «Буранов» с селюками в нартах.

... Светает быстро и незаметно. И пока мы около часа курсируем по извилистому руслу таской речки, а затем треснем по болотным кочкам, ружиное солнце нехота всплывает над горизонтом. Наконец влору открывается долгожданное озеро, окаймленное кедром.

Чтобы согреться, а более — от петерпения, я скорее беру ледобур и сверлю лунку. Очистив ее от крошкве, бросаю блесну с наживкой.

Машинально потряхивая удочку, смотрю окрест: мне любопытно, кто и чем выныт. Тайная надежда стать первым удачником волнуит и бодрит меня...

И отзывается сердце радостным биением, когда влрут рука чувствует живую и невидимую тяжесть. Откинув в сторону снасть, я спорознито выбираю леску, не давая ей спланики.

И вот из лунки появляется та простенькая рыбица, ради киторой недосыпаешь, иерзнешь и усташь.

— Пой-ма-а! — поднимая руку с добычей, восторженно ору я, и слышание неподаюску сотоварищи, с завистью взглянув на меня, с еще большим рвением попергивают свои удильники.

А на снегу трепещат зеленистый оюнк, но мне недосуг рассматривать его. Я торопливо опускаю блесну в лунку, и вновь леска натягивается от грузного рыбка, а сердце на миг замирает, чтобы забиться снего и молото.

Ненадолго забываюся житейские заботы и огорчения, и ты отдымашь душой.

... Уже с десяток рыбешек лежат в кучке, когда внезапно срывается очередной оюнк.

Я представляю, как он, ошалеб от испуга, бросяется наутек, успев пробудькать:

— Полуидра, братцы! Кто-то за дуречков нас принимает — обманку подсолочивает и влврх тянет...

Поредешая сляпка шустро разбегается, а один малец — то ли смелый, то ли неопытный — челлит в недоумении: «Какая красивая штука мельещит! Вот попробую ее и поплы... Ой, мыщочка, что это со мной?»

Конечно, я вылавливаю глупенького, но дальше, к сожалению, бесполезно надеяться на везение, придется сверлить новую лунку, которая, разумеется, не будет последней...

Солнце, лениво прокатившись по пологой дуге небосвода, висит на западе, готовое упасть за верхушки деревьев.

Пора и нам собираться в дорогу...

Гармошка

С утра до вечера в доме деда Ивана не по-русски орет магнитофон, подмигивая разноцветными лампочками: внуково увлечение.

А в горнице на комодѣ стоит старенькая гармошка, прикрытая вышитой салфеткой.

Подойдет дед к ней, погладит, вздыхая, и задумается... Иногда, в летние вечера, возьмет он гармонь, выйдет на крыльцо и играет до тех пор, пока его репертуар не иссякнет.

Песни военной молодости шьют над селом, и если в тот момент поглядеть на деда Ивана, видно, как он свежее и приободряется.

Хотел как-то дед свой репертуар пополнить современными песенками вроде «Малиновки», да бросил рзучивать: застыдилѣя чего-то.

Пытался он и внука сызмалу к гармошке приладить, но тот лишь терзал да мучил ее, и только один «Антошка» лениво ползал по перламутровым кнопкам...

А в доме не по-русски веселится магнитофон, лукаво мигая лампочками: дедово наказание.

Картошка

Учиться в школу я пошел, когда закончилась война. Отец, который в ту пору работал председателем колхоза, решил как-то позаниматься со мной: свободный вечер, наверно, выдался у него. Открыв букварь на заданной странице и водя пальчиком, я начал:

— **Хы-ле-е-бы.** — Я радовался короткому слову и не предполагал, что этот вечер запомнится мне на всю жизнь.

— Что получилось? — с довольным видом спрашивает отец.

Я медлю, соображая, и наконец выпаливаю:

— Не знаю...

Отец, не ожидавший такого ответа, долго молчит.

— Читай! снова! — слышу я, и в голосе его чувствуется досада.

— Хы-лс-с-бы, — протяжно распеваю я, пытаюсь понять, как же неизвестное слово скрывается за буквами.

— Что получилось? — уверенный в том, что теперь-то я скажу, спрашивает отец. Его взгляд наскрипка сверлит мне стриженую макушку, так как мое молчание затянулось. Уткнувшись в букварь, двинув пальцами вправо-влево и нащепывая, я с пениоверным усилием заставляю себя постичь коварное слово.

— Не знаю...

Тихому и боязливому слесю голосу я не доверяю, хотя, быть может, он чуточку смягчит гнев отца. Куда там: отцовский выкрик заставляет подбежать к нам переполошившуюся мать.

— А что ты жрешь!

Я наварил плиту, и со слезами, которые орошают заплолучные буквы, стекает круглое слово, такое понятное и знакомое мне, но не похожее на то, что могли сложиться из них.

— Кал-то-о-ску...

Мать, отстраня отца, выговаривает ему:

— Что он тебе скажет, если в глаза не видел этого несчастного хлеба?..

Больше отец со мной не занимался.

Когда я вспомнил этот случай, мне хочется плакать, как в далеком и горьком детстве...

Рубашка

В пору моей молодости этот листок попал ко мне неведь откуда, но интересно то, что очутился он в глухой деревушке, в которую приехать можно только с оказией.

А еще забавней — этот листок был не чем иным, как рекламной моды. На цветном снимке красовался переи:

в такой пикарной рубашке навывпуск, что я лишился ума от желания носить непременно такую же.

Примечательным в этой рубашке, конечно, был широкий пояс с длинными косыми концами, которые парень завязывал полуузлом. А на обратной стороне листка приводились выкройки.

Да вот беда: где сыскать в таежной деревне искусную портниху? И хранил я листок до лучших времен, иногда посматривал на парня, завидуя ему и вздыхая.

Потом я женился, и у меня родился сын. И все же мечта заполучить рубашку не покидала меня.

Благо, что вскорости появилась возможность ездить в город. Но мой ныл охладила жена:

— Ты, чай, не парсь теперь. Чего ж в ней красоваться? Мне и так люб...

— Не пришлось самому поносить рубашку, пусть хоть сыну удастся, — решил я и показал ему листок, когда он стал молодец.

— Смотри, отец, что сейчас в моде! — ошаршил меня сын и, выдернув из-под джинсов концы расстегнутой рубахи, завязал их на пузе...

Листок я берегу до сих пор, продолжая завидовать тому парню. Может, внук мой будет носить такую рубашку?..

МИХАИЛ РЕЧКИН

(г. Москва)

На масленицу

В нашей таежной деревеньке Тунуске всегда в особом почете был праздник проводов русской зимы — масленица. А для нас (в ту пору ребятшек двенадцати) четырнадцати лет — праздник вдвойне. Мы катались на разукрашенных тройках, глазели на разные игры, особенно старались не пропустить состязания по лазанию на обледенелый столб за хромовыми сапогами и борьбу на опоясках.

В моей детской памяти наиболее ярко запечатлелся случай, когда чернореченский кузнец Василий Пятунин поборол всех наших мужиков, рискнувших бороться

с ним. Толпа тупосовцев недовольно гудела, особенно возмущались бабы:

— Нешто у нас не найдется мужика, чтобы одолеть крепнорожесто «сернореченца»!

Царь из этой галдящей, возмущенной толпы вышла Гимонова Домна. Она подняла со снега опояску и, оценив как оглядывая кузнеца с ног до головы, начала подвязывать ее вокруг талии. Завидев эти приготовления, все притихли. Невиданное дело: баба собирается бороться с мужиком. Да еще с каким мужиком! А может, она просто хватила лишнего? Или решила посмеяться честной народ?

Кузнец, увидев, что с ним собирается бороться крупнотелая, толстая, как квашня, баба, громко расхохотался, приговаривая:

— Умора! Бабу, супротив меня вытускают!

Но Домна прервала его разглагольствования крепким ударом кулака по плечу. Потом, не раздумывая, ухватила Василия за опояску и с силой встряхнула. Пятунин изумленно крикнул.

Толпа, словно очнувшись от оцепенения, разом оживил. Загудела шум поднялся невообразимый. Задние стали давить на передних, меня оттиснули. С трудом выбравшись из толчеи, и с ходу полез на забор. Еще не успев на нем развернуться, услышал за спиной сплошной оглушительный рев. Испуганно оглянувшись, увидел несерьезную картину. Домна сидела на кузнеце, заломив ему руку за спину.

Трудно сказать, что рождало испок необычного поединка: напористость и неженская сила Домны или усталость и ошеломление соперника. А может, энергичная поддержка односельчан?

Очевидно было одно: Домна Гимонина победила в единоборстве самого сильного человека округа.

Мужики тупосовцы вытощили из толпы Федьку, мужа Домны, и принялись качать. Тщедушное Федькино тело в коротком овчинном тулупчике встало над площадью, как лесский моч. Наконец, отледав душу, они поставили его на землю и, хохоча до слез, стали по очереди изощряться.

— Ох, и ведучий же ты, Федька! — смеялись мужики, хлопая его по плечу. — С такой женкой нитке не пропадешь! Не баба — трендер!

...Мне часто приходилось бывать в избушке Федьки и Домны. Жили они на самом бойком месте, возле

сельповского магазина. По мнению большинства односельчан, и Федька, и Домна, которым давно перевалило за тридцать, были с чудинкой. А кое-кто даже откровенно крутил пальцем возле виска...

Ростика Федька был небольшого. Его удлиненное тело заканчивалось короткими и толстыми, как два полешка, ногами. Поэтому и прозвище ему дали Коротенькие Ножки. Работал он на молокоприсном пункте.

Летом, когда случались тихие вечера, бабы и дедки, слав молоко, домой не спешили. Из соседнего дома выносили патефон, и становилось шумно и весело. Но настоящее веселье начиналось лишь после того, как Федька, управившись с молочными делами, выходил на улицу с гармонью наперевес. А гармонист он был отменный. Обучая меня, Федька любил приговаривать: «Учись, Минька, гармонист на деревне второй человек... после продавца».

Как только «второй человек на деревне» появлялся, вечерка словно прсображалась. Патефон немедленно убирали, освобождая место общему любимцу, а он, пи на кого не глядя, во всю ширь растягивал мски своей «полухромки» и заводил частушки. Федора в этот момент было не узнать. Душа нараспашку. С лица хоть икону пиши.

И все же подруги, узнав, что Домна выходит замуж за Коротенькие Ножки, сначала не поверили, прибежали, стали расспрашивать. А она только улыбалась и молчала. Принялись отговаривать, убеждать, но все напрасно.

... Вечером, когда праздничная площадь опустела, я, не удержав, пошел в знакомую избупку. Открыл дверь и замер от неожиданности: Домна редела взаллеб на кровати, уткнувшись в подушку. Я боязливо спросил:

— Тетя Доня, ты чего плачешь?

— Фе-едь-ка... про-о-пал...

— Как пропал?! — не понял я.

— Не зна-а-аю... Всю Тунуску обошла, нигде его нет... Может, уже за-а-мерз где-нибудь...

— Я его видел, он к своим старикам заходил.

— Когда?! — вскочила она с кровати. — Мать сказывала, что его не было!

— А я видел. Вот как темнеть начало...

Федькины престарелые родители жили на самой окраине деревни. Мы с Домной вошли в их избу, и она прямо с порога нетерпеливо спросила:

— Мама, где Федька?

Бабка Фекла замялась виновато, потом, сокрушенно махнув рукой, показала пальцем на полоти. Дочка легко вскочила на приступок печи, заглянула в темноту податей.

— Федя,— громко позвала она,— Феденька, ты чего из дома то ушел?

— Не пойду я домой. Чего пришла? — отчужденно выговорил Федька.

— Пошто не пойдешь-то? — удивилась Домна.

— Опозорима ты меня на всю округу! Живи как хочешь! Не муж я тебе боле!

— Што же мне делать-то?! — растерялась Домна, оглядываясь то на мужа, то на бабушку, то опять на полоти.— Не могу я без тебя жить!

На глаза ее навернулись крупные слезы. Неожиданно она спрыгнула с приступка на пол, схватила сучковатое березовое полено и метнулась обратно:

— Г'аз так, спускайся! Бери полено и бей меня, коли я виновата!

Федька поскрипел досками, милому раздумывая, как ему быть, потом неторопливо спустился вниз. Женя смиренно шагнула в его сторону, протягивая полешко. Федька молча взял его. Размачкнулся... Ойкнула в испуге бабушка Фекла, паронив из руки веретешко; я на всякий случай ухватился за ручку двери, собираясь звать стрекача. Но Домна вдруг утихла, склеив слезы и тихо засмеялась. Федька опустил руку и тоже расплылся в улыбку, но, спохватившись, посуровел лицом и, шагнув с приступка на половины, не спеша, по-хозяйски прошел за стол.

— Однако смотри у меня. Боле в мужички дела не деть! А ты другой раз так отложу вот этим поленом.

Про бычка и бабу Мотю

Значит, ты говоришь, колдунья исту? Не скажи-и... А вот послушай, што со мной непонятной зимой приключилось. Боле семидесяти годов прожила, но таково еще не было.

Вышла я, значит, ночью в огород колодец закрыть, как снес поюно: тишина кругом господня, звезды на

небе перемигиваются, дымки из труб вьются. Закрыла колодец, постояла малость, морозец за шски начал пощипывать. Наладилась было обратно в избу. Вдруг гляжу, за стогом вроде телячий зад вишнеется. Я туда. Так и есть, стоит наш бычок Ванька и сено уминает. Ах ты, язва, думаю, вылез-таки из хлевка. Ишь, к «зеленке» прилабунился.

Взяла я таловый прут пожиже и звикнула телка по спине раз-другой. Он как взбрыкнет — и айда вместо хлевка через весь огород к заплоту. Я за ним: «Куды?! Куды тебя лихоманка несет?!» А он прет через сугроб напрапалую. Мне деваться некуда, убегает ведь скотинка-то. Тоже ноги в руки и в сугроб. А телок уже в дыру норовит пролезть. Вилно, по осени наладилс через нее на зады шастать, а к зиме-то отъелся, пролезть не может, застрял. Я только два шага ступила — и по пояс. И так и эдак пробывала выцарапываться — завязла. Тогда легла набок и катмя к ему начала подкатываться. Снегу за шиворот уйма набралось. тает, в пимы за голяшки набилось. Подкатилась к телку, встала на колени и в сердцах-то давай его по бокам охаживать, аж прут сломался. А он как рванулся — так ползаплота на сбсе и вынес. Отбежал в сторону, остановился. Тяжело ему такой хомут на себе тащить. Я кос-как доползла до него. Начала из дыры вытаскивать. Што я тольки не выделявала с бычком и с заплотом энтим. Взмокла вся. Псих на меня напал. Ниче ить не получается. Запалилась, села на снег, выругалась как следоват, вроде полегшало. Встала, начала доски по одной отрывать. Голову бычку вниз пригнула да из дыры-то выпихнула.

Обняла я его за шею и говорю: «Ванечка, дурачок ты этакий. Пошли добром в хлев. а? Стара я за тобой по сугробам бегать...» Стоит он, слушает. Я ему за ухом почесала, по бокам похлопала, даже слово лала до самого забоя боле прутом не стегать. Опосля подтолкнула его легонько в зад — пошел он, видно, понят. На твердую дорогу выбрались, живей зашагали. Волосы на голове у меня запуржило, сама вся в снегу, кто бы видел — ну чистая снежная баба. што ребятишки на улипе лепят.

Вдруг телок ни с того ни с сего с дороги сворачивает и прямиком к Симониным воротам. Я кричу: «Куды?! Назад!» А он будто и не слышит. Я его заворачиваю, а он крутится на месте и целится к этим воротам проско-

чить. Запыталась я, села на бревна у палисадника, пот по спине ручьем течет. А бычок, будь он непаден, спойнхонько подошел к воротам и уткнулся в них мордой. Как-как отдишалась я, стала на ноги подниматься, а не могу Дуляко: «Э-э, без нечистой силы тута не обошлось». Глянула на Симошкино окно, а из-под даяпавески свет выбивается. Времи к полуночи, а она не спит. Знать, колдует Симошка-то. Вот почему бычка следы затупило. Будь он хоть бы с белой звездочкой по лбу, я то ить весь как смоль черный.

Ну, думаю, явила Ести она до утра колдовать на-дадилась, замерзну здесь, не сходя с места. Вот ить зло-вредная старушня, еще кака я маленька была, она надо мной потевалась. Сестру пошта как-то искать, затланула в Симошкин двор — ливко. А ить видела — сюца шмыкнула. Зашле. На окно глянула: Симошка спит, на меня смотрит и нехорошо так ширится. Я от страха в крики, бежать, а вокруг, откузь ни возмись крапи-ва — высоченная. А ить не было, ей-бо не было, в одну минуту будто выросла. Сидуну сунулась и через нее — как она меня живает! Цельную неделю в крапаных волдырях ходила, а перау ночь вовсе спать не могла, орала дурнипушкой, пришлось матери в бочочок из под огурцов воды налить, там и сидела я пол се налзором. Опосля неделю каятляя.

И за што она меня нелюбила, Симошка эта — не знаю. Сказываги, што деп мой по молодости удучал связаться к ней, да вояресья отговорили. Можги, за то нашему роду и мстит... Чего говоришь? Ах, сколько годов ей? Кто их ей считал то? Когда я ияленькой по улицм бегала, она такя ж была, как и сейчас. Колпо-ство сделать некому, вот и живит, ятми се. Правда, как-то слух пустила, будто внучка к ней должна при-ехать. Идем мы раз с дедом, смотрим, и впрямь девка писаная у окна сидит, книжку читает. Потом воляя ма-газина ея видела в штанах вельветовых в мелкий руб-чик, с бяжкой на заднице. Када она идет, было эта тулы соды, тулы-соды. Прям как в той чашушке: ох, милка моя, верти дедом, как и я... Парни в Бланке будто с ума поскодили, гужом за ней увивались. А она на них косым не глядит, сядет у окна и книжку читает, читает, как скажана. А онц, под окном... И дед мой... лривилки тута токает. Симошка упростила. А парни янти на лавочке гогочут. И вот один из них возьми за и скажи иому деду: «Дай-ка, дедушка, я тебе пособлю».

Взял он у него топор и как зачал дрова крошить — только шепки полетели. А другие: «Тани, дед, топоры! Мы тоже разомнемся».

Мой Петруха полдеревни обег, пятнадцать топоров насобирал, раздал им, и пока дух переводил, они тридцать кубов, как семечки, перешалкали. Ей-богу, не вру.

Но вот как-то вечером гнала я мимо симонихинского двора поросенка да в шпиль заплотную нечаянно заглянула. Смотрю: стоит Симониха на крыльце, в руках брюки внучкины держит и бляху кирпичом надраивает, знать, штобы шибче блестела.

Пришла я домой, деду про то рассказываю, а он мне и говорит: «Неужели ты до сих пор не поняла, што нет никакой внучки? Это она сама левкой оборачивается и по деревне ходит. Сначала парней одурила — они ей дрова перекололи, а теперь, видно, планирует на покос их заманить».

Вот так-то!

Но это я уже в другу сторону ударилась. Про бычка досказать надо. Сажу я, значит, на бревнах. Симониха колдует, бычок у ворот стоит, а мороз еще пуше крепчает. Начал под куфайкой меня пробирать. Я ить спотемши. Што делать? Хоть караул кричи. Встать-то не могу! В Бога я давно уж не верую, а тут как приперло — сразу вспомнила. «Господи, — шепчу, — прости ты меня грешную. Чо с меня взять-то, как есть испустевая, такой родилась, такой и помирать буду».

Пробую встать — зад как приморозило. Начала молитвы вспоминать: «Иже еси на небеси... воля твоя... цветы Божьи, цветы крепки...» Какие тут к черту цветы! Замерзаю вконец! А другие молитвы никак вспомнить не могу.

Замерзла бы я, если бы не Ванька. Стоял, стоял он, надоело, видно. повернулся и пошел ко мне. В двух шагах остановился, замычал. Я ему: «Ванечка, миленький, подойди поближе, родненький ты мой». Понимать ить добрые слова-то. Переступил копытами. Ухватила я обими руками за его голову там, где рожки намстились, а встать не могу, плачу да приговариваю: «Ванечка, миленький, ослабони ты меня. Как перед Богом клянусь: резать не буду — живи сколь душе угодно...» Он как потянет, юбка затрещала, и меня будто подбросило. Упала я на колени. Глядь, а Ванька развернулся и пошел. Успела я за его хвост уцепиться,

да так на скрюченных ногах до самого дома докандлябал.

Воиз своих ворот обняла бычка за шею, слезы чьей душат, натую его в мокрую морлу. Совсем как ест расхликала. Впустила его в хлевок, а сама скорей в илбу. Зуб на зуб не понакает. Вхожу, а дед мой спит, только пазыри от него отлетает. Ему и невадомек, што баба слава не окоурядилася. Если бы не Ванька... «Господи, спохватилась я... Как же теперь ему сказать, што оичку слово-то дала не рзвать!». Идъ покаялась даже. Во рту разом пересохло, язык как наждак сделалася. Схватила я со стола самоварчик, крант открыла и скольки в ем было воды — всю до дна выцедила. Сразу как-то спокойней стало, разделась и спать улеглась. «Заутра, лумаю... разберусь. На худой конец, прозвать бычка можно».

.. И приснился мне сон. Будто бы открывается дверь и заходит Симониха. Все старухи в ее лета сторбленные, как коромысла, — дымь пошупакачки уку завыли, на ногах если не пимы, так шерстяные чулки до колен среди лета, и без палочки никуда. А эта в легком платочке, стоит прямо, лицо как у молодухи, а зубы мелкие да ровные, стодуба. Подходит ко мнe и тихо так говорит: «Што жемотилась, Мотя? А глянь-ка на себя в зеркало». Визла со стола осконок, глянула в него. Господи, мордочка с кулачишко, нос как фига, гвалки узенькие. Рот открыла, а там только два передних зуба, как ошечные ножки, торчат. Волосенки на голове чисто у младенца, тольки седенькие.

А Симониха мнe и говорит: «И для чего ты, Мотя, живишь? Какся такая от тебя польза людам? Цельными лядями, как полкан, по уздам шастаешь, разные сплетни собираешь, а вот штобы путного чего сделать — тебя тут нет. Вот зачем ты сегодня всюю чего сделать — тебя телка по сугробам гоняла?»

Я ей: «Да ты чего?! Окетись!»

А утром будит меня Петруха. Разлепила я глаза, смотрю: лицо у маво дела бело-пробелое, ни кроинки. Губы и те побелели, бороденка трясется. «Никак сго лихорадка забирает», — спросонья соображаю. А он: «Слышь, мать, проснись, да проснись же!» Я ему: «Да ризуй глаза-то! Проснулся уже! Чего тебе?» А он шепотом: «Пойдем ка в хлевок». Я шепчу: «Зачем?» А он крестится на образа и говорит: «Ты сначала сходи, глянь, опося скажу».

Я встала, ноги в пимы ткнула, полушубок накинула, вышла. Подхожу к хлевку, дверь отворила, смотрю: темно да еще пар оттуль валит. Если бы не оконце в стене, так вовсе бы не разглядеть. А в голове мысль крутится: «Нсужто околел Ванька-то?» Приляделась, господи, што это?! Два бычка стоят как вылитые. «Чур меня, чур...» — шепчу со страху-то. И тут как обухом по голове. Кинулась в хлев, схватила одного за уши, другого. Ага, метка! Так ить я ж Симонихина бычка...

А ты говоришь, колдунов нету.

Пряники

Он был невысоким, коренастым и неторопливым. Толстые стекла больших роговых очков неестественно увеличивали его выцветшие стариковские глаза. Говорил Клабуков не спеша, ясно, четко и с достоинством. Что меня более всего поражало в Марке Ивановиче, так это его потрясающая память. Отдельные события своей долгой жизни он помнил с точностью до минуты. Детство воспроизвел, начиная с колыбели.

Вот одна из его историй.

Как-то отец решил взять семилетнего Маркушу с собой в Тюмень. Мальчик еще ни разу не бывал в городе и в ожидании этого события проснулся раньше отца.

До Тюмени от родной деревеньки Речкино километров сорок пять.

Отец предупреждал сына, что дорога будет тяжелой и долгой, советовал подождать до августа, но малышу не терпелось увидеть город с большими домами, магазинами, базаром...

И вот они в дороге.

Духота, тележная тряска и... комары. Мириады комаров. Он проживет долгую, чудовишно тяжелую жизнь, но такого кровососущего лета уже никогда на его памяти не будет. Писклявые твари лезли в глаза, уши, рот, под одежду. И кусали, кусали, кусали... Марк не выдержал — зарсвел отчаянно и обреченно.

— Ты чего?! — обернулся сидевший на передке отец.

— Комар рыц!

— А в эсь тебя предупрежда.

Но сын только добавил голос, у него в тот момент было одно желание, соскочить с телеги и сломя голову бежать домой.

— Слушай, Маркуша,— вдруг обрадованно заговорил отец.— Я эспомнил! Есть в Тюмени одна лявка, прямо на весте, где комаров на вес принимают. За килограмм комаров пуд пряников дают.

Он быстро достал из кармана газету, которую использовал для самокруток, сделал из нее кулек и зрянул сыну:

— На, бей их и складывай сюда. Да поспешай, а то Тюмень скоро.

Пряники! Это же такая вкуснятина! Да еще целый пуд!

Маркуша ел пряники только по большим праздникам, а тут сразу пуд. Неужто правда? Но ведь отец никогда его не обманывал.

«Эх. Сейчас я вам задам»

В азарте охоты на комаров он скоро заметил, что кулек наполняется слишком медленно. И тут на лязз полаялась широкая спина отца. Слой комарья шезелился на ней, превращая старый отцовский пиджак в нечто похожее на меховую поддевку.

Ага, вскричал Маркуша.— Вот ты где!..

Котла польсали к лявке, отен зря кулек, ошени-яюнице встрянут его и с сожалением вздохнул.

— Маловато. Но на полкило, думаю, хватит. Жди.

Он вошел в лявку и, казалось, пропал там навсегда. Минуты растянулись в часы. Нетерпение достигло такого предела, что во рту у Марка сделалось сухо и горько.

Вот он! Наконец-то!

В руках у отца был кулек, но не газетный, а другой — голубоватого цвета. Значит!.. Маркуша слотнул густую торьковатую слюну и всем телом поддался вперед.

— Ну что?!

— Держи! — смеясь в прокуренные усы, мягко сказал отец — Лявочник просил перелать, чтобы в следующий раз ты подлучше старался. А так пришлось дошачивать.

Сын заглянул в кулек и обомлел. Он был полон больших, покрытых розовой глазурью драгоценных пряников.

Эх! Жаль, отец поздно вспомнил, что здесь комаров на пряники обменивают, а так бы и мамке, и бабушке, и даже дружку Витьке целый кулище такого добра привез.

— Смотри, много-то не ешь. живот заболит,— предупредил отец.

Маркуша бы и рад съест много, глазами-то уже съел, да куда там, «приговорил» три — и сыт по горло. Когда по столько есть-то приходилось? В первый раз!

Этот комарино-пряничный праздник так потряс его ребячью душу, что даже спустя годы, в лагере, на нарах, с пикирующими с потолка клопами, которых не без риска для себя звал «сталинскими соколами», он снова и снова будто заглядывал в голубой кулек и ощущал во рту божественный вкус глазированных пряников...

ЕВГЕНИЙ БРАВЕРМАН
(г. Нижневартовск)

Женская доля

Каждая женщина о чем-то мечтает,
Каждая женщина по ком-то страдает,
Каждая женщина о чем-то поет,
Вяжет, стирает, моет и шьет.

Нос вытирает своим малышам,
Завтрак готовит семье по утрам,
В школу детей провожает, потом,
Быстро олевшись,— на службу бегом.

Вечером ждет ее вновь карусель:
Дети, уроки, ужин, постель.
Ладно, хоть муж вроде трезвый пришел —
В руки газету и сразу за стол.

Так и летят нашей жизни года...
Ну, а любить? А любить-то когда?
Есть же счастливые, те, что поют...
Вяжут, стирают, моют и шьют...

Ситуация

Я давно Вас боготворил.
Личился сна, мечтал о встрече,
Улыбки издали дарил,
С восторгом слушал Ваши речи.

Вы так таинственно милы,
Прекрасны ласковые руки,
Вы не жеманны, веселы,
И с Вами не умрешь от скуки.

Ваш интеллект вдобавле богат,
Господь скрепил Вас ладаном,
И наш отборный русский мат,
Краснея, вянет рядом с Вами.

Я шел настойчиво к мечте,
О встрече день и ночь молился
И утешения нигде
Не мог найти — я в Вас влюбился.

И вот Вы наконец пришли,
И я всю ночь был с Вами ласков...
А утром шепчет: «Прости,
Как н со всех — с тебя пять баксов».

Но... рядом женщина была

О, как прекрасен мир, ребята!
Крутом цветы и тишина,
Полет оукашечек крылатых,
Закат зарюющего дня!

Как этот свет устроен мило —
Вокруг земная благодать,
И личеик, что в цветах кружила,
Хотелось счастья нежельшь!

Кукушка выкриком простудным
Мне ворожила — как могла...
И был бы день сегодня чудным,
Но... рядом женщина была.

Из орфографического словаря

Висит постель над оттоманкой.
Пулярка бегаёт в салу.
Вития медяницы банку
С волхвами слопал исполу.
Затем каморра заманила
Полишинелюшку в постель,
А там она ему вручила
За сексуслуги солитер.
Меж спорадических сеансов
Манерку выпил наш дурак
И, обезумевший от мансов,
Пустился весело в трепак.

Постель — рисунок мягкими карандашами.

Оттоманка — диван без спинки.

Пулярка — откормленная курица.

Вития — оратор.

Медяница — ящерица.

Волхв — волшебник.

Исполу — пополам.

Каморра — тайное общество.

Полишинель — шут.

Солитер — бриллиант.

Спорадический — нерегулярный.

Манерка — фляжка.

Мансы — басни (байки).

Трепак — танец.

ВИТАЛИЙ АБАКШИН

(г. Нижневартовск)

Многогранник

Я родился в год Свиньи. Прожив некоторое время, полюбил девушку, которая родилась в год Тигра. А Рак (это один парень, родившийся в год Крысы) попытался отбить у меня мою девушку. Впрочем, почему попытался. Он ее отбил, но лишь на некоторое время. За то время, которое моя девушка проводила с Раком, я по-

любил девушку, родившуюся в год Кота. Девушка была намного лучше той, которую я полюбил раньше, но все же она ушла от меня к Овну, который родился в год Петуха. Очень и после этого разнервничался и замкнулся, пока меня не полюбила Дева, она родилась в год Крысы. А Рак, который отбил у меня первую девушку, уже бросил ту, которую я когда-то любил, и приглянулся к моей новой любви. Он долгие и упорно добивался взаимности у Девы за моей спиной. И я так и не узнал, добился ли он чего-то или нет, потому что вновь влюбился в девушку, родившуюся в год Тигра. А Овен тоже полюбил Деву, и они сцепились с Раком не на шутку.

Пока они выясняли отношения, две мои бывшие девушки одновременно попытались восстановить любовь со мной. Но я им не велел, более того, я уже не верил в надежность той девушки, которая родилась в год Тигра.

Окажись вы на моем месте, наверное, тоже не испытывали бы особого доверия к женскому полу. Но однажды, будучи в гостях у Козерога, родившегося в год Свиньи, я увидел ту, на которой впоследствии женился. Это была действительно девушка моей мечты. И было очень неприятно узнать, что Овен уже был влюблен в нее, и лишь то, что он влюбился в мою бывшую девушку, родившуюся в год Кота, удержало его от женитьбы на моей будущей жене.

Теперь мы с моей Куклолкой, родившейся в год Лошадь, очень счастливы и, вспоминая молодость, все больше убеждаемся, что от судьбы не уйдешь!

И что примечательно, все эти события произошли в один год. Год Свиньи.

На сленге о любви

Я торчу. Вздумали мы намедни волочки хлебчлакнуть, в компешке посядеть. Луз со своей и я с Клавкой. Груба. У Туза бикса товаристан, ноги от шеи, грудь колесом. Словом, финиш. А Клавка-то моя вроде и мила сердцу, но до тузовской биксы далеко ей. Сидим, прикальваемся. Я то по натуре человек заводной, как пошел стогать, у всех уши вянут и в трубочку заворачиваются. А тузовская бикса клобше скисла, пятнами пошла и только в бессилье кузачком ухнет, ржет, знает. Отщыл. Разоверивали мы, дай Бог памяти, а, во —

о любви. Туз погнался, что любовь — это доверие друг другу. Я высказался, что любовь — это прежде всего инстинкт. А биксы как давай гнать, вот любовь, мол, светлое чувство, когда все ради любимого сделаешь. Тут мы с Тузом совсем оборжались. Милое дело, я ради биксы сделаю не так уж и много дел. А эта тузовская бикса как вякнет, что любовь — это умנים прощать. Тут нам не до смеху стало. Туз сразу разливать полез, это у него всегда, когда ему возразить нечего. Я тоже молчу. Был у меня опыт такой. Простишь, а она на шею залезет и ножки свесит и завопит: «Вперед!» А куда — сама толком не знает. Еще кое-что родилось в голове моей. Подумал я тогда, что погиб Туз: если бикса с такими мыслями живет, то изменит она ему, как пить дать. Проверка, значит: любит али не любит. Ох, эти ли фам, ля фам.

И точно: где-то дня через два приваливает эта тузовская бикса ко мне и давай мне всякие разговорчики вкручивать. Загадками разговаривает, бесстыдница. Плечами водит и бровями махает, вертихвостка. Ну, я ей прямо ее положенис обрисовал. Вкратце. Надулась и быстренько — тгдш, тгдш — домой, видать, поскакала. А я теперь все думаю: так что же это такое — любовь.

Психолог

Пришлось мне однажды ехать в поезде со странным человеком. Глаза у него постоянно в пол опущены, даже когда разговаривает, взгляд так и шарахается. Сам роста небольшого, одет в мятый пиджак и хоть и в чистые, но опять-таки мятые брюки.

Ехали мы с ним в одной плацкарте и волей-неволей разговорились о жизни. Опустилась темнота. Поезд превратился в грохочущее сонное пристанище.

— Жена у меня красавица, и люблю я ее до сих пор. — мерно рассказывал мой попутчик. — Настраивали мы с ней двоих детей. Жили как все, не выделялись, я инженером работал, часто в командировки ездил. Ну и, как в анекдоте, изменила она мне. Не знаю уж, сколько раз, но мне бы и одного достаточно... Избил я ее любовничка. А ее вроде как простил, не тронул. Стали дальше жить. А я хоть и простил ее словами, в душе —

не смог. Копилась во мне злость, обиды на нее, и она нажты сорвалась. Было это за обедом, под руку нож попался — я и кинул его в запальчивости, попал жене в шею.

Попутчик тяжело вдохнул.

— В больнице днями и ночами сидел, ждал, когда выйдут, выздоровеет. А она заявила: на меня в милицию. Может, и за дело, но полька уж больно жестоко. Два года я в тюрьме пробыл. С женой разошелся. Уехал в Сургут, вучился на сварщика. Хорошие деньги стал зарабатывать, отсылал много денег да жене. Звал к себе, чтобы приехали. Устроились бы, мне начальник мой квартиру обещал.

Попутчик пошел вени, и я увидел его лица — серые в зеленую крапичку. И такая обида в них и тоска.

— Я уж полгода дома не был, детей не видел. Вся эта жизнь опостылась. А тут, как нешло, организацию нашу сократили. Меня — на улицу, в безработные записали. В общем, покатылся я, братец, по наклонной плоскости. И так бы и катился, если бы не другок мой один из Нижнеартовска. Открывает он частное предприятие по обслуживанию сантехники. И меня зовет к себе.

Мы помогчали. Поезд, слегка покачиваясь, отстукивал свой дорожный ритм.

Утром я проснулся от какого-то неудобства. И спросонья не миг понял, где нахожусь. Потом сообразил. Я спал на нижней полке, а она, как известно, под собой имеет место для поклажи. Так вот, оказывается, нижнюю полку кто-то поднял и она, зафиксировавшись, прижала меня к стене. А я так сладко спал, что совершенно не заметил этого.

Но самое удивительное жалово меня исперли. Когда я, крихти, выбрался из этого положения, то с недоумением обнаружил, что моих чудных кожаных чемоданов и след простыл.

Я стоял и глазел на пустую нишу, пока наконец до меня не дошло, что ноги к моим чемоданам прилепили тот самый жестотливый мужичок.

«Какой! — подумалось мне. — Психолог».

ВИКТОР МАЛАХОВ
(г. Лангепас)

* * *

Испугалась — до неприличия.
И чего испугалась — слов!
Словно пойман тобой с поличным я,
Словно что-то со мной стряслось.
Ну, подумашь, тренькнул лирою
И немножко — того — загнул.
Я вполне себя контролирую,
Не пускаю себя в загул.
Ну да разве позволишь много —
Погулять во всю ширь души?
Ты со мною такая строгая,
Аж по коже ползут мураши.
Много лишних я слов расходовал,
Ну так то от избытка чувств!
На позиции на исходные,
Как орудие, откачусь.
А точнее, пойду на попятную:
Извини, если что не так.
И в газете о том напечатаю,
В жизни важен последний шаг.
...Хороша была рожь! (Вспомни Шишкина.)
Это все от избытка чувств.
Виноват, загибаю лишнего.
Ничего. Ничего. Молчу.

АНАТОЛИЙ ТИТОВ
(г. Лангепас)

Хорошо быть стариком...

Раньше был я чудачком,
Старости страшился,
Хорошо быть стариком —
Лично убедился.
Можно рано не вставать,
Можно нежить лень свою

И при этом долувать
Регулярно пенсияю,
Можно по лесу бродить,
Загорать на даче,
Георгины разложить,
Даже порывачить,
От людей почет большой —
Старость уважаю,
Даже в транспорте порой
Место уступают.
Все как надо. И дуна
Больше не волнует —
Не влюбляюсь. Но жена
Все равно ревнует,
Улыбаюсь ей тайком
От уха до уха...
Хорошо быть стариком,
Если есть старуха!

ИГОРЬ КОСОЛАПОВ
(г. Нижегородск)

Лекарство для тещи

Мую тещу замучил радикулит. Ее лечили врачи, зна-хари, экстрасенсы. Бесполезно. И я решил попробовать помочь ей избавиться от болей в спине. В Саратов, где живут мои родители, много пчеловодов. Они рассказали, что пчелиные укусы целебнее всех лекарств. Одним летом я привез из отпуска в литровой банке несколько десятков пчел, которых наловил знакомый пчеловод. Он же и рассказал, как нужно заставить пчелу ужалить «нужное место в нужное время». Когда я рассказала теще об этом известном народном средстве, она согласилась на сеансы.

Процедуру решили начать янсом с ольного ужаления в сутки. Теща удобно расположилась на диване. Слабо-нервник из комнаты уехали. Моя жена Светлана взяла банку с пчелами и открыла крышку. Но вместо одной пчелки из банки вылетел десяток. Первая пчела ужали-

да се в бровь. Несколько других запуталось в волосах. В панике жена поставила банку на край стола, она упала и разбилась. Что тут началось!

— Я услышала всхлип и звон разбившейся банки,— с ужасом вспоминала теща.— Подняв голову, увидела, что Света размахивает руками. «Ворона»,— пронеслось у меня в голове. Я поднялась с дивана. Вокруг кружили пчелы. Одной из них, видимо, не понравился запах моего «Сальводора Дали», и она «прилипла» к моей шее. Свега тем временем схватила с дивана плед и с криком начала размахивать им...

— Крик и шум за дверью встревожили нас,— рассказывал позже тесть.— Я приоткрыл дверь, картина была потрясающая. Ошалевшая от ужаса и боли, дочь скакала по полу с пледом. Жена почему-то закричала: «Закрой дверь!»

Окончательно все испортила тещина собака. Когда тесть открыл дверь в комнату, она проскользнула туда и, налетев на пчелу, заметалась, не зная, куда бы спрятаться. Насскоемое ужалило собаку в нос. Вой собаки, крики тещи, мат тестя, бегодня и слезы жены... Сгоряча пледом разбили настольную лампу, уронили вазу. Тесть был босиком, побежал открывать балкон — порезал ногу.

Пчел эта бегодня возбудила еще сильнее. Собака, поскуливая, начала царапать входную дверь. По состоянию бедного пса было видно, что он получил не одно целебное пчелоужаление. Затем теща догадалась укрыться в ванной, жена — в туалете. Мы с тестем и собакой выскочили на лестничную площадку.

На душе у меня стало легче. Тут приехал сосед на лифте.

— Что это с вами? — спросил он.

— Тещу лечим,— вырвалось у меня.

— А мне нальете? — глядя на наши красные, разгоряченные лица, опять спросил он.

— Иди к Валентине, попроси,— подхватил шутку тесть.

Сосед зашел в открытую дверь нашей квартиры. А через несколько секунд пулей вылетел обратно.

— Та-а-ам пчелы...

— Я же сказал, тещу лечим,— повторил я.

Минут через десять мы все-таки решились зайти в квартиру. Оставшиеся от побоища пчелы жужжали на оконном стекле.

— Эй, выходите,— постучал в двери ванной и туалета
тесть.

Теща выглядела лучше. У Светланы же лицо вспу-
хло и приобрело форму и цвет огромного спелого
помидора. Теща не знала, на ком выместить свои
чувства:

— Ты зачем привез таких диких пчел? — с порога
ванной высказала она мне свои претензии.

— Хотел как лучше,— робко промямил я.

— Посмотри на жену. Как она на работу завтра
пойдет?

Теща достала пылесос, включила его и начала соби-
рать пчел с оконного стекла. Тесть пошел на улицу ис-
кать покусанную собаку. А мы с женой, опухшей до
неприличия, отправились домой. Сейчас лечонля закон-
чимся.

.. Прошло уже почти полгода. Радикулит тещу боль-
ше не мучает.

Приманка для Егора

Прошлой зимой мой приятель Егор уговорил меня
поехать на рыбалку. В подвале своего дома он накопал
червей и сложил их в полиэтиленовый мешок. Моя
жена напекла пирожков с ливером. Я взял из мороза
сало, заварил в термосе чай. Приготовил зичние удоч-
ки, взял дслоруб и затемно выехали на моих «Жигу-
лях». Егор был с похмелья. Он мирно дремал.

Ехать до озера нужно было около трех часов. На
полпути решили перекусить. Приманка для рыб находи-
лась в одном рюкзаке с продуктами. Егор достал сало и
хлеб. Пирожки подомались, и их решили не доставать,
а есть кусочками прямо из рюкзака. На улице было
тепло. Едим сало, по кусочкам достаем пирожки, запи-
ваем чаем.

— Какая-то начинка у пирожков странная,— сказал
Егор.

— Ливерная,— ответил я,— жена вчера пекла.

Пошли. Поехали дальше. Когда приехали на озеро,
открыли рюкзак, чтобы достать червей. Их там не ока-
залось.

Долго мы с Егором озадаченно смотрели друг на
друга.

ВИКТОР КОЗЛОВ
(г. Мегийон)

Северная погода

Вчера погода осерчала:
дома ходили ходуном,
и солнце, кажется, качалось
«летучей мышью» за окном...
А нынче вышел спозаранку —
стоит такая тишина!..
Как будто после перебранки
ушла с детишками жсна.

Январь-77

У нас январь — морозец, вьюга...
А то — опять поплыл каток.
У нас январь... нет, январюга! —
неимоверно был жесток:

рессоры сынались у «КраЗов»,
солярка резалась ножом.
И разговор короткий:
фразы
просты,
увссисты, как дом!
Почти везде простой по акту:
металл не терпит...
Люди что ж?
Нс рад жестокому антракту
последний лодырь... Бесит все ж:
ну почему морозный вирус
лишь нашу технику разит?!
Вон в сизом мареве
«Магирус» —
шумит, как примус, паразит...

На переводчицкие тунедок
 саратовских
 прислали к нам косяк.
 Сам по себе сей факт
 вроде пустяк,
 но... ладя трехпапенья сладок —
 и жизнь пошла
 наперекосяк...
 Все дело в женском дефините.
 А тунедки были хороши!
 При дефините — разве до души?
 Парней мы наших строго не считате,
 не прозвоним года три в глуши.
 «Гудели» даже лучшие бригады.
 Срывались вдруг степенные «деды»!
 И жены их в предчувствии беды
 вовсю шумели: «Что-то делать надо...
 Начальство-то у них глянит куды?»
 ...Начальство воспитаньем занималось,
 прозялая увольнением по КЗОТ...
 Но получалось все наоборот:
 смеясь, красотка раздевалась:
 — А ну, давай, начальник, чья возьмет?..
 Ретировалось, матерясь, начальство,
 ослепнув от начальной наготы
 — Куды ж ты, — вслед неслось, —
 снимай порты!
 Не убегай от собственного счастья!
 Смотри, «кудрявый», пождешь ты!
 ...Во взрыве есть порядок, ну в любви
 уж какнибудь порядок наведут
 ведь «главная потребность наша — труд»
 — Поужавая малость,
 ну и будя!
 А то ведь нас... в Саратов упекут! —
 один, другой
 скажали тунедке,
 Иная и задумалась всерьез:
 ведь кроме стаканов и папирос
 держали ж руки книжки
 и тетрадки
 и возникал —

«зачем живешь?» —
вопрос...
Начальник первый, не пугаясь сраму,
что тунсядкой злостной покорен,
на ней женился.
Все как в мелодраме...
Два наших парня
сгнули бичами.
Потери были,
в общем, с двух сторон...

БОРИС РОМАНОВ
(г. Нижневартковск)

Ангел

Летел по небу Ангел Божий.
Детишки хлопали в ладоши.
Юродивый шербатым ртом
Горланил радостно о том.

Торговец же смотрел на кассу.
Алкаш бутылки из-под кваса
В канаве сточной полоскал.
Карманник жертву засекал.

Путана свысока и гордо
Следила за шикарным «фордом».
Водитель ждал зеленый свет,
Шеф-повар делал винегрет.

Развратник соблазнял девицу.
Политик нанимал убийцу.
Садист оглядывал людей,
Весь полный дьявольских идей.

А Ангел все летел небесный,
Хоть никому не интересный.
Был он средь белых облаков
Лишь для детей и дураков...

Казачье

Ох, как я вчера гулял!
Свою жинку променял
И на красны шаровары,
Ничего не потерял!
Ох, как я вчера гулял!
Всех гусей я порубал.
Пережарил на закуску
И весь улитце разлал.
Но как я вчера гулял!
Хата, двар мой и чувал —
Все пустое. Из хозяйства —
Я да мой пустой бокал.

ЛЮДМИЛА МАНЧИНОВА
(г. Нижневартовск)

В дневник

Стихи не пишутся. Но хочется — писать.
И потому вновь мучаю тетрадь.
Щепочкою нелепых рассуждений,
Полупонятных откровений.
Плита, сковорода. Налито тесто.
Такое белое, что вспоминая о невестах,
Томящихся в броне из шелка и фатина.
К семейной жизни так неукротимо
Стремящихся — а вдруг не хватит места
И мужика? Цинично, зато — честно.
И колка носится, задревши хвост трубой
Из ванной в комна у, выжимая за собой
Столбы почти неощутимой пыли,
Как будто бы здесь сроду пол не мыли.
Все носится! Вольно же ей скакать!
А ты сидишь и мучишь тетрадь
Картиной жизнедающего быта:
Плита, сковорода, угог, корыто...
Передохнем, и можно продолжать

Экологическое, или Случай на буровой

Рассказ очевидца

Как за вороной гнался сокол —
Ворона громко голосила
И крыльями вовсю махала,
Пытаясь смерти избежать.
Она, как метеор, носилась
Промеж опор и стоек вышки,
То вверх, то вниз она бросалась,
Но сокол молча настигал.
Уж у нее першило в горле
И онемели мышцы крыльев.
И когти острые злодея
Уже вонзались в тело ей.
Увы! Несчастливая ворона!
Погибнуть было суждено ей,
Но и вороный погубитель
Совсем недолго ликовал!
Нелегкой оказалась ноша,
Не по его когтям и крыльям —
И оба с высоты небесной
Упали камнем прямо в нефть.
И сгнули, конечно, оба,
Хлебнувши нефтяного пойла...
Отсюда — не одну, а много
Моралей можем мы извлечь:
Не будь вороной — зря не каркай.
Всегда найдется хищник рядом,
Который на твой крик беспечный
Примчится, чтоб тебя сожрать.
Не жадничай, когда ты сокол,
И если чувствуешь, что добыча
Не по когтям — бросай добычу,
Чтоб с нею вместе не пропасть.
Будь ты ворона, будь ты сокол,
Хоть сам павлин — конец все тот же,
Когда вокруг — амбары с нефтью,
Коль вся земля — сплошной амбар.

Об астрологии и поэзии

Рассуждение

От звездного расположения
Зависит и телосложение.
Но на прогресс стихосложения
Едва ли влияет умножение.
Поскольку скорость размножения
Стихов — навычки ли достижение.
Скорее это разложение
Поэты... Солетложение
В кляксах и минимум движения
Предполагает отторжение
От общества и обнажение
Обид. Сие предположение
Рождает мысль, что изложение
Процесса самопостижения
Доводит до изнеможения
И мозгового разжижения
Тех, кто имел воображение
И осознал без искажения
Особенности положения
Поэта, склонного к брожению.
В потугах самовыражения.

Р. С. К сему — возможно продолжение.





ЛИЛИЯ ТАКТАШЕВА
(г. Мегюн)

* * *

Набегался по лужам,
Сапожки промочил.
Сижу теперь я дома.
Один, совсем один.

И скучно мне, и грустно,
И горлышко болит,
И выходить на улицу
Мне доктор не велит.

Уже второй денечек
Гулять не выхожу,
Присел я у окошка,
На улицу гляжу.

На улице сорока —
Белы, как снег, бока —
Мне хвостиком махнула,
Мол, не горюй. Пока!..

Пока, пока, сорока.
Пока я посижу.
Хоть хочется побегать,
Пока я погожу.

Денек такой чудесный,
И полон двор друзей...
Пришла б скорее мама,
С ней станет веселей.

Про Барана

Угостила я Барана
Листиком капусты,
Заливлю Баран в карман,
А в кармане пусто!

«Бе-се-бе,— сказал Баран —
Что-то стало грустно.
Разве я могу наестся
Листиком капусты?»

Принеси-ка мне скорей
К утреннему чаю
Пряников и сухарей,
Не то заболжаю!»

Ой, боюсь тебя, Баран!
Ой, я убегаю.
Все, что просишь, принесу
К утреннему чаю!

* * *

Вышел по небу гудать
Месяц желторогий.
Повстречался ему
Тучка по дороге.

Месяц тучке говорит.
«Уходи с дороги,
Поскорее уноси
Свои тучьи ноги».

Не послушалась совета
Тучка-озорница,
Илетела на него,
Словно ястреб-птица

Месяц тучку забодал
Рождками своими,
Улетела тучка прочь,
Нет ее в шимине.

И всю почешку гулял
Месяц желтогогий.
Больше тучку не встречал
На своей дороге.

Про Дарёнушку и Кусачку

Жила-была коровушка
По имени Дарёнушка.
Жила-была собачка
По прозвищу Кусачка.

Илет Дарёнка утром
К реке на водопой,
Уж тут как тут Кусачка:
«Ну, поиграй со мной».

За хвост Дарёнку дернет,
А та се лягнет,
Потом, догнав Кусачку,
Легонечко боднет.

Кусачка извернется,
Опять ее за хвост.
Дарёнка: «Забодаю».
Собачка шмыг под мост...

Так весело и дружно
На берегу играют,
Устанут и разлягутся
На травке — отдыхают.

Жует Дарёнка жвачку,
А кость грызет Кусачка.
Как отдохнут немножко,
Так снова у них драчка.

Но подросла Дарёнушка,
Такою важной стала,
Дружить она с Кусачкой
Теперь уж перестала.

Удивительный художник

Красно Солнышко ликует,
Голубеют небеса,
Чья рука на них рисует
Белой краской чудеса?

Белогривы копи скачут,
Белый кит разинул рот.
А на беленькой перине
Спит огромный белый кот.

Вдруг исчезли кит и копи,
Кот с периною пропал.
А художник белой краской
Чудо-кто рисовал.

И работает художник
Нспррывно целый день:
То плывет парусна-дебель,
То бежит с горы олень.

То появится жар-птица
Удивительной красы.
То рисует, как мышонюк
Тащит конку за усы.

Красно Солнышко садится,
Потускнели небеса...
Рисовать художник начал
Алой краской чудеса.

ВИКТОР КОЗЛОВ
(г. Мезон)

Буквой «М»

Папа с мамой по краям,
а в середине самой я —
называется «семья».
Если день стоит погожий,

наша тень на «М» похожа.
Да известно будет всем:
с этой нашей буквы «М»
начинаются слова
МАМА, МИР, МАЛЫШ, МОСКВА,
МИККИ-МАУС, МИЛЛИОН
и, конечно, МЕГИОН!
Хорошо живется тем,
кто гуляет буквой «М»!

Стихи про куропаток

1. Летом

Летом куропаточка
словно шоколадочка:
на торфянике стоишь
рядом с ней — не различишь!

Вот она какая!
Как бобы какао,
детки раскатились —
тоже затаились...

Кто кого перехитрит?
Кто кого переглядит?..

Куропатка ждаль не стала
и, хромя, побежала,
распустив крыло одно —
дескать, сломано оно...

...Отведет подальше нас
и — «поправится» тотчас.
Ей что мы, что злой хорек —
кто такие? —
невдомек...

2. Зимой

Побелели куропатки,
топчут первый снег в распадке.

Снегом их не удивишь
держит он их и без лыж...

Куропатки
любят в прятки
в мягком снеге
поиграть,
прямо с детьми,
с разворотом
научились в снег пирячь.

Куропатки белые
и под снегом бегают!

Не пугайся, если вдруг
вверх
снежки
вылетят
вокруг...

Грибное место

Ах, какая белочка
прыгнула с пригравочка!

Вот, как фокусник, волнушку
сорвала и впрям, на сушку

вверх, на слух, унесла.
И пошла мелькать, пошла...

Я тут только что прошел —
ни грибочка не нашел!..

Сладкий лук

— Черешка Троля,
как у вас живете?
Хорошо у вас живу:
лук зеленый я жую...

— Черепашка Тротя,
что ж вы слезы льете?..

— Это я от радости:
в луке столько сладости!
Слаще лука, мальчик,
только одуванчик!

Голубика

Голубика, голубика —
синие фонарики!
Голубые светляки,
праздничные шарики!

Я стоял бы и смотрел
на твое сияние,
если б кушать не хотел
в это утро раннее...

...С голубикой пирожки
хвалят все мои дружки!

Бурундук

Под ногою хрустнул сук...
И тотчас же бурундук
бросил с кедра шишку.

Шишка — прямо в капюшон
угодила... Хорошо,
где же шалунишка?

Он мне шишку подарил
иль... с испугу уронил?

После сбора ягод

Лег Андрюшка
на подушку,

но тотчас заснуть не смог,
хоть совсем не чуял ног

— Не могу я,— нычет,— спать!
Здесь опушка или кровать?..
Здесь кровать или опушка? —
вспомнится Андришка.
— У меня в руках брусника,
голубика и черника —
не могу лишь их сорвать!

Красную — чернику,
сизую — бруснику...
И во сне... и наяву...
ягоды все рву... и рву...
попробуй тут усни-ка!..

НИКОЛАЙ СМIRHOV
(г. Пижмевартовск)

Рассказы
из сборника «Синий бор»

На исходе лета

Я купил мотор «Вихрь», поставил его на лодку. У нас было давнее желание: разведать исток речки, найти место, где она берет начало. Теперь такая возможность есть.

Запаслись продуктами на несколько дней, бензином для мотора, вооружились: у меня — двустволка, у Демки с Валькой — луки.

Четвертый член экипажа — Борзан, рослый, чуткий: размышлет и промарширует колонкой, и рыбка на дереве или затанцующая в траве куропатка.

Отчалили мы вверх по течению. Мотор жужжал, как гигантский шмель, пенял винтом воду. Мне оставалось направлять лодку серединой, где глубже.

Борзан, как впередсмотрящий на корабле, уставился вдаль: что там, за новым поворотом?

Под вечер показалась набушка Прокония на прибрежной полянке. Сам козынь, заслышав стрекот мотора,

вышел на берег встретить нас. Принес с пасеки меду и усадил за стол. Мы пили чай, ели мед вприкуску с хлебом — вкусно! Подкрепившись, выбрались на крылечко.

Жужжали мирно пчелы, приятно пахли цветы. От избушки в лес утягивалась дорожка. Влево от нее — звонкие сосняки, вправо — березняк.

Несколько деревьев забралось в ограду около избушки. Между ними суетились проворные молодые курочки и петушки.

— А где же их мать? — полюбопытствовали ребята.

— Нет ее, — вздохнул Прокопий. — Присматривала за цыплятами тетерка...

И он рассказал такую историю.

Прокопию скучно было одному в избушке. Завел курицу и кошку Харитинью переправил сюда же — все веселее. Курица всему задавала тон: клох-клох... Прокопий положил в лукошко десяток яиц. С того дня клохтушка исправно сидела на них. Даже корм клевала с гнезда. Цыплята вывелись — чудо! Крепкие, ладные, семенили по двору желтыми катышками. А клохтушка возле важная-прважная, строгая. Пробовала Харитинья поозоровать с цыплятами, так курица ее чуть не расшибла грудью.

Однажды желтышков высмотрел коршун. Мать храбро бросилась их защищать. Коршун унес курицу невдомо куда.

Пришлось взять осиротевших в избу. День-два, ну а что дальше? Смотреть за ними некому...

В ту ночь полыхнуло над лесом зарево, потянулись хвосты дыма — пожар! Прокопий всю ночь сражался с огнем. Утром побрел к избушке. Вспомнил, что в спешке забыл прикрыть избушную дверь. Цыплята, конечно, разбрелись, не слышь теперь.

Каково же было его удивление, когда нашел желтышков целыми-невредимыми... Верховодила же цыплятами тетерка.

Увидела человека, растерянно закрутила головой, не зная, улетать ей или оставаться на месте.

Прокопий зашел в избушку, понаблюдать, что будет. Рябенькая вынырнула из куста: ко-ко, успокойтесь, дети, его не видно! Жука на крохотные частички разделила на всех поровну: не жадничайте!

Вот так заботливая родительница! Значит, своих детей потеряла на пожаре, прибилась к чужим. И цыплята приняли ее за свою мать.

Рябенка потом каждый день появлялась. Чтоб терка не успевала выплывать в лес, Прокопий заделал щели в ограде.

* * *

Переночевали мы в избушке и снова в путь-дорогу! Прокопий проводил нас до берга, предостерег:

— Вы поосторожней. В лайминских болотах водятся мелведи.

Речка сузилась, истаяла до ручья, пришлось лодку оставить. Лес потянулся смешанный, низкорослый и густой-претстой — непродвижная чаща. Кажется, не ступила здесь человеческая нога.

Вот затопленный водой островок. На нем — муравейник. Обитатели забрались на верхние, сухие пока этажи, ждут своей участи.

Я вырубил берзовую жердь и перекинул ее от муравейника на берег.

Муравьи не устремились по ней скопом, пустились вначале осторожных разведчиков — те пробегут немного и остановятся, словно советуюсь. Еще пробежка. Еще. Добрались до сухого «материка» и обратно — оговестить собратьев: мол, все в порядке.

Завязали замалась. Впереди те самые разведчики; за ними — слабые, ученые муравьи, муравьики, неважно вылупившиеся из личинок муравьяма. Кто сам передвигаться не может, того ташат здоровые, сильные.

В середине процессии повздорили два забияки, сцепились, теснят друг друга. Их без суеты сопроводили на осыку, и там забияки пережидали, пока пройдет вся процессия.

Пробояли яркнувь в общий поток, но их водворили на прежнее место. Да еще тычков напалавали. Такая строгость!

Веселее нам стало. И лес уж не такой угрюмый. Много в нем всяких жителей трудолюбивых, заботливых. И вовсе не злых.

* * *

На ночлет расположились у костра. Борзан окурная нас. Среди ночи он с лапи мстнулся в темноту. Кто-то шаркнулся, лиман дерева. Борзан вернулся, учаственно дыша, подрагивая от возбуждения, и улется, положив

голову на вытянутые передние лапы. Значит, все спокойно. Утром мы обнаружили у ручья следы, похожие на коровьи: лось приходит пить. Это его шупнул Борзан.

Деревья постепенно редели. Остался кустарник. Ручей петлял в нем, исчезал, как сквозь землю проваливался. Искали, искали — пропал! Выручил Борзан. Томимый жаждой, он ковырнул носом мох и принялся лакать воду.

Да ведь это же исток! Молодчага, Борзан!

Я из двустволки салютовал находке. Валька пустил стрелу, которая описала кривую и упала в малинник. Валька — за ней. Вдруг видим, торопится назад, запыхавшийся:

— Там мелведь!

Не напрасно предупреждал нас Прокопий. Лучше не связываться с Топтыгиным, уйти по-мирному.

Так и сделали.

Лодку нашли на прежнем месте в целости-сохранности. Сели в нее, и заговорил мотор, забудькала пола.

На волнах качались опавшие листья — первые ласочки надвигающейся осени.

Зима

Выпал снег. По чистому полю протянулись печатки следов. Выбрали мы те, что покруглее, и пошагали возле.

Следы привели к низине в бору. В кустах шевелился кто-то.

— Рысь! — шепнул Валька.

Я двустволку наперевес, только напрасно: в кустах всего-навсего выслеживала синиц Харитинья.

Вот так следопыты! Кошачий след не отличили от рысьего. У рыси он крупнее, хотя и напоминает кошачий.

* * *

Потерялся Борзан. День его нет, другой. Вышел на крыльцо, зову:

— Борзан!

Неожиданно из-под крыши, где свалено сено, — вой. Я скорей туда! У Борзана на правой переланной лапе тяже-

ленный капканщик. Зимой наши деревенские охотники ставят такие на волков, по пять-шесть вокруг примайки.

Борзан и разнючал дармовщинку.

Освободил я лапу из стальных зажимов и ну растирать на трех ногах что за охотничья собака!

Борзан сначала не решился ступить на прищипленную лапу. Потом осмелел, порезвел. В лес я его не брал, так он забавлялся с ребятами. Демка с Валькой запрягли его в санки, на которые ставили флягу, и отправлялись за водой. Борзан такой сильный, что и братья зялоно прокатить мог.

* * *

Мир залит неярким таинственным светом. От него снег кажется голубым. На голубое угали темные тени деревьев. У настоящего леса появилась его точная копия. Все есть, даже просеки — пространства между тенями.

Отправались мы посмотреть, кто из лесных обитателей не спит ночью. Кто первый пожалует на бесплатное питание?

Ветка живая скользнула или веревка толстая, тугая, можно сказать, продернулась из снега. Ага, ласка!

И другой зверек копошится возле примайки. Похож на лютняжку. Это хитрая героиня народных сказок — лисица. Работает беспестанно челюстями, но сторожится, ушки на макушке.

Склонив лобастую голову, бредет к «столовой» волк. Не он ли спугнул хитрюшку? Борзан! Ну конечно, он! Силам и смеется, вот ведь несправимый, не пошел ему на пользу урок с клякном, решил воспользоваться дармовщинкой.

Так и не узнали мы, кто еще не спит ночью.

* * *

Речка промерзла чуть не до дна. Но там, где из-под берега выбивается ключ, панцирь льда тоньше.

Все равно изрядно прищлось нам помахать помом, пока из проруби с булькашем не устремилась черная, как деготь, вода.

Налеру всплывли разной величины рыбы. Скольпо их! Вода кипит, как в котле.

Вдруг в проруби показалась темная, с подслеповатыми поблескивающими глазами, мордочка. Схватив щуку, он-латра мигом исчезла. Вот такой ловкий рыболов!

Ондатрам зимой не легче, чем рыбам: трудно плавать, находить вмерзшие в лед водоросли. Зверьки и воспользовались нашей прорубью — добывают себе еду.

* * *

В огороде братья соорудили блиндаж: вырыли в снегу углубление, укрепили с боков и поверху досками, засыпали снегом, оставив лишь вход. Блиндаж получился на славу. Только спустившаяся темнота прервала бурное сражение за него.

Ночью легла пороша. Холоднее стало. Я вышел в огород и сразу заметил заячью стежку, тянущуюся прямехонько на блиндаж. Позпал Демку с Валькой.

Белячишка забился в дальний угол блиндажа, зыркает глазками. Взъерошенный такой, наверное, спад, враспloch мы его застали.

- Что будем делать с незванным гостем?
- Кормить. Пусть здесь живет до весны.
- Но вы же воевать собрались. Или, может, передумали?
- Ага.
- Но все же, в безопасности ли белячок?
- Честное слово, не тронем. По-хорошему.
- Если честное слово, берите под командование, тащите сена, моркови.

Обновление

Ночью заморосил дождь. Частые водяные капли исправно точили снег, и к утру открылись черные глаза земли — первые проталины. Где вчера еще горбились сугробы, сегодня, продырявив прелый прошлогодний лист, выглянула молодая травка.

Демка с братом водрузили на длинной жерди скворечню. Возле нее уж хлопочет парочка угольно-черных скворцов.

Ребята вскарабкались на забор, наблюдают за новосельем.

Хорошо виден им сверху и лес, помолодевший, мохнатый, манящий.

— Дядя Коля, пойдем за речку, пока не спесло переход, — зовут.

Ну, пойдете.

Мир радости, открытий... Увидели цветочек мелуницы Трехцветный он: у основания — розовый, посередине — синий, верх — фиолетовый. Еще талые воды в низинах, а торфяна распустился уже, повернувшись лестным венчиком к солнцу. Муравьи обследуют его в поисках пищи.

Откуда ни возьмись — поползень. Плюнулся на валяжину, как прилип. Обшарял ее и завистел мелодично — весна ведь.

Несутся облака белые, словно умытые. Отражаются в речке. Речка широкая, до краев залитая водой, бежит напористо. Застоявшийся лед скрипит, корежится, обивается в заломы.

Дождинки секут, смывая зимнюю шкуру. Вдыхают крижистые старушки сосны, пошумливают иголочко, подставляя ладье ветки.

Обновились в природе. Весной она всякий раз молодет, рождается заново.

* * *

Весной каждой птице пролететь своим голосом хочется. Бекас блеет, утки кричат, самец куропат хохочет. Дико так, пол-депачему. Успышишь в темном лесу, испугаешься.

У журавлей песня красивая. Гуси, лебеди тоже хорошо поют. Нет среди них мальчишничков.

На что уж тужанник — дятло! И тот находит время поквискать. Голову наизд ответит и резко так, с коротким выдохом кричит — салютует дню, солнцу, всей бессмертной красоте мира.

Но и птицы не вечно молоды. Годы берут свое.

На длинноклювника, обитавшего в светлом березовом лесу, навалилась старость. Сначала крылья отжелели. А потом в горле заскребли камушки. Скребли, скребли — пропал голос. Пришла весна, дятло поквискать захотелось — а ни звука. Онемел. Сколько ни старался, ни вытягивал шею — нет песни.

Страшно ему стало. Вокруг: гомон, стрекот, писк. Один он безмолвный. Полетел длинноклювник над деревьями. Випит, пилузу поленища дров сложена. Люди здесь неважно быти. Вот надрубленная пореза. Из раны

сок, чистый, как слеза, стекает. В выемке скопился, застыл розовым комочком. Дятел эту розовую массу и склюнул. Покисло на языке приятно. И вроде камушки перестали в горле скрести. Слезы березовые из ранки сочатся, по стволу стекают. Открыл дятел клюв и стал их ловить — сладкие!..

Время бсжит, торопится. Вот уже и полдень, солнце через лес к пашне перемакнуло. Дятел от сладких капель оторваться не может. Чувствует: бодрость в него вливается, былая сила возвращается.

И осмелился длинноклювик, попробовал кивнуть — получилось! Да так звонко, как в прежние молодые годы. Будто и старости нет. Вот какой это сок! Силы земли в нем собраны. И кто этот сок попробует, в того сила и перельется.

Попробуй когда-нибудь березового соку — сам это узнаешь!

* * *

Мутный поток талой воды пес шепу, палки, прошлогоднюю солому. Горбатой шукой проплыло березовое полено. За ним следом появился кораблик, сделанный из сосновой коры. На мачте-лучинке бился тряпичный парус.

Подхватив крохотное суденышко, поток властно швырял его по перскатам, кружил на месте, мчал дальше. Кораблик зарывался носом в волны, валился на борт так, что парус касался воды, и тут же, выронявшись, продолжал путь вниз по течению.

Там, где поток с клокотаньем вривался в реку, торчало из воды туполобое бревно. Словно в наказание за свободу и смелость коварная стремнина бросала путешественников на это бревно так, что все разлеталось вдребезги.

А что же кораблик? Он перед самым бревном вдруг ловко вильнул в сторону и на высоком гребне волны — махнул прямо в реку.

Река была величава и спокойна. Кораблик поднял нос, осадил корму и заскользил по глади. Ветер надал в парус. Мимо пронеслись кусты тальника, залитые по самые макушки водой, огромные коряги. А к берегу реки уже бежали мальчишки. Они махали руками и кричали:

— Выдюжил! Жив кораблик! Смелее, до самого моря плыви!

ВАЛЕРИЙ АКИМОВ
(г. Нижегородск)

Первое апреля

Тучи — утру не помеха.
Дует ветер — жди чудес.
Было праздничн день сияла,
Солнце бризнуло с небес.

И народ заулыбался,
Даже дождик не смутил.
Только я переживал все:
Как бы кто не подшутил..

Затмение

Потемнело небо чистое,
Сквозьлось солнышко лучистое.
Все луни его могуще
За Луною, как за тучею

Однофамильцы

Без ручейков нет речек,
Без жатвы нет жнецов,
Сидит в траве кузнечик,
А рядом — Кузнецов.

В зените корзины реет,
В кустах журчат ключи...
Однофамильцев греют
Июльские лучи.

Сторож

Неприступен, как утес,
У двери разлегался пес.
На посту он у порога,
Потому и смотрит строго.
Водит пиками ушей.

Развлекает малышей.
Но пугает взрослых псына:
Зубы, когти, голосина...

Дятел

Ветер иву раскосматил,
Разнося веселый стук:
На сухой березе дятел
Споро, ловко, без натуг

Занимается работой,
Как обычно, налегке,
Долбит дерево с охотой,
А охота — в червяке.

ЮЛИЯ ИВАНОВА
(г. Покачи)

Мы растем

Я теперь уже не крошка —
С детским садом расстаюсь.
Подрасту еще немножко
И на маме я женюсь.

Никогда, поверьте, за нос
Папа сына не водил.
Но с женьтибой, оказалось,
Он меня опередил.

Я, когда узнал про это,
Зла на папу не держал,
Полюбил девчонку Свету
Со второго этажа.

Я щенка сй с мокрым носом
В день рожденья подарил.
А она ко мне с вопросом:
«Сколько будет трижды три?»

Я Маринке дал согласие
Уши Ваське отдрать.
Но зачем ей было Васю
После драки целовать?!

Разукрашу я табличку
И повешу на косяк
«Здесь живёт Максим Синякин —
Убежденный холостяк».

СОДЕРЖАНИЕ

I. ВИТРАЖИ

Валерий Острый	6
Мастер Васютин. <i>Рассказ</i>	6
Виктор Козлов	
«Летим!..»	19
Утро на буровой	20
«У нас и в мас крутят вьюги...»	20
Концерт в тайге	20
Весенне	21
«Гроза промчалась...»	22
«У голубики цвет иль свет...»	22
«Милые березки! У меня...»	23
«Гроза прошла...»	23
«На Фряках такое разнотравье!..»	24
«Октябрь, а навигация на Вахе...»	24
«Хоть и бабье лето на дворе...»	25
Вахтовый роман	25
«Я тебя забывать погжу...»	26
Голодяне по Брэггу. <i>Рассказ</i>	27
Игорь Северский	
«Птица ль с криком легла на крыло...»	34
Таежная баллада	34
«Душа мятежная моя...»	35
Я вернусь	36
«А лето кончилось...»	36
Карты розданы	37
Театр	37
«Как вечно лист трепещет на ветру...»	39
«Золотые монеты...»	39
«Шенячи охи и ахи...»	40
«Надоело искать и терять...»	40
Шестнадцать коротеньких строк	41
Ермей Айвин	
Во тьме. <i>Рассказ</i>	42
Моя княжна. <i>Осенняя грусть</i>	53
Юрий Валин	
Купание на рассвете	61
Перед охотой	62
Жизнь, дающая силы и мне	63
На троллейбусной остановке	65
Пожелание счастья	66

детища-заманушка и другие	66
у телевизора	71
белые крики	72
Мутама	73
На уроке	75
Как прикажете его называть?	75
Возражение	76
Нина Зинченко	
Кисели-морозы. Рассылка	77
Валерий Акимов	
В песне	96
Матери	96
Женщины на гаищах в санатории	97
Поэты далекой мерг	97
Зеленый плод	97
Примета безвременья	98
Забастовка нянтерин	98
Переломы	99
Вечернее	99
Путь к себе	103
Судьба	103
Наволоки Смирнов	
Девятидневский пейзаж	101
Лесной житель	103
Лунная зарюлька	106
Недростое личико	106
Улыбка	108
У них тоже любовь	109
Земельный выхлопок	110
Жонкасья дяди Кузаны	111
Безрыбная голова	112
Испытание на смекалку	114
По насту	115
Вступлении к жизни	116
Венямина Кавзу	
Гузари	117
«Отпилил костер, в ночи заблудший...»	118
Припрятанье	118
«Неприбранный, селой...»	119
«Пронахация ядомю и травой...»	119
«Настеяете писалие...»	120
«Стонг я-чарь на Вакстане...»	120
Непогод	121
Слезышк	122
«Назаяк, стачок тождерный»	122
«Старый человек. Всего три слова...»	123
«Что законилось?»	123

Старик	124
Память детства, сорок третий год	124
«А ты представь, представь...»	125
Оле	125
Катастрофа	126
Сергей Луцкий	
С утра до вечера. <i>Рассказ</i>	127
Татьяна Юргенспн	
«Сотвори меня, Господи...»	147
«У Вечности свои законы...»	147
«В этой странной игре...»	148
«Я перешагнула через ступень на лестнице...»	149
«Секунды...»	149
«На ладонь легла снежинка...»	150
«В прошлой своей жизни...»	150
«Под каблуком изланные снежинки...»	150
«Я ухватила за концы клубочек счастья...»	150
«Какое это сумасшествие — Весна!...»	151
«На востоке взошла моя звезда...»	151
«Соединить в себе поэта и женщину пытаюсь...»	152
«Небесной синевы испить...»	152
«Моя душа клубком свернулась...»	152
«Как долг путь от правды бытия...»	153
Мargarита Анисимова	
Звонок среди ночи. <i>Рассказ</i>	154
Павел Бармин	
Молитва	165
«У ворот моей души...»	165
«Не говори красивых слов, не надо...»	166
Афганский Новый год	167
«Кто назвал эту иву плакучей...»	168
«Я рук твоих ласкающую нежность...»	168
Стоит ли звонить?	169
Судьба	169
Виктор Колодзин	
День кончился — ночь еще не начиналась. <i>Рассказ</i>	170
Анастасия Юсубова	
«Просто так, в никуда...»	174
«Задув последнюю свечу...»	175
Видение	175
«Я целовал кресты в церквах...»	175
Евгений Век	
Русь	177
Натурально	178
Счастливишки. <i>Рассказ</i>	180

II. УЗОРЫ ИЗ БИСЕРА

Елжа Хризова	
Сеизмос	186
Меж учрами	187
Поэти	187
«За любовь бы — все, что угодно»	188
Николай Комичев	
«Я художник-худак»	188
«Премия, посулы, подолоты»	189
Сергеевое	189
Ворис Ромашко	
Шашка	190
Беломысе	191
Марина Ден	
Освободи	192
Ирина Грибеникова	
Мой индиг	192
«Отчего ты сегодня счастливая?»	193
Александр Попович	
Тажные нани	193
«Прижмусь вылазшей щекой»	194
Антонин Филиповский	
«Как это все пережить»	195
«Он все, конечно, знает»	195
Валентин Овсянников-Завреский	
Негаснувшие зори	196
Людмила Тимидеева	
«Шелли неслась»	197
Татьяна Митанова	
«Витает род чужих стихов»	197
«И у меня была Москва»	197
«Охладевшее лето»	198
Владимир Винажико	
«Венчал музыка в ночи»	198
«За славянскую забаву»	199
Татьяна Адагасова	
«Упяду на колени пред Гоголем»	199
Александр Филатов	
«Мне не надо много»	200
«Все так же, как было, все по жале»	200
Оксана Абрамовская-Величко	
«Посиди: Ну вот они, большие»	201
«Дни из ребрами брошен»	201
Светлана Ковальчук	
«Ровно семь, Звонск, Откройте»	202

«Я писем от тебя не жду...»	202
«Я постигла вселенскую мудрость...»	202
Анна Комкина	
Этюды	
О жизни	203
О дружбе	204
О свободе	204
О любви	205
Галина Чепель	
«Я верю в очищение души...»	206
Виктор Малахов	
«Иду от восхода к закату...»	206
«Отчего мое молчанье...»	207
Юлия Иванова	
Наш день	207
Мужу	208
Галина Новикова	
Чудо. <i>Новелла</i>	209
Валентин Андриченко	
«Тихо... Немного печально...»	210
Блажь	211
Мои далекие рассветы (<i>отрывок</i>)	211
Елена Желтова	
«Ты — зеркало мое. Мои гнев и удивленье...»	212
«Я вам всем благодарна, кто в моей жизни был...»	213
III. И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ	
Борис Боровинский	
И отзовется сердце	216
Гармошка	218
Картошка	218
Рубашка	219
Михаил Речкин	
На масленицу	220
Про бычка и бабу Мотю	223
Пряники	228
Евгений Браверман	
Женская доля	230
Ситуация	231
Но... рядом женщина была	231
Из орфографического словаря	232
Виталий Абакшин	
Многогранник	232
На сленге о любви	233
Психолог	234

Виктор Малахов	
«Испугались — да не прирочили»	236
Александр Титов	
Хорошо быть стариком	236
Игорь Косолапов	
Лекарство для тели	237
Приманка для Егора	239
Виктор Колдов	
Северная погода	240
Январь 77	240
«Не переосмыслишь гусянок...»	241
Борис Гаманов	
Ангел	242
Качечье	243
Людмила Манякина	
В дневник	243
Экологи нескве, или Случай на буровой. Рассказ <i>пошлого</i>	246
Ос ветрологии и гоэзии. Рассказ <i>белого</i>	245
IV. ДЕТСКИЙ УГОЛОК	
Людмила Тихомирова	
«Набегает по лужайкам...»	248
Про Барана	249
«Вашел по небу голубья»	249
Про Цыганку и Кусянку	250
Удивительный чулокник	251
Виктор Колдов	
Буквой «М»	251
Слова про куропаток	252
Грибное место	253
Сладкий дук	253
Голубка	254
Бурундук	254
После «боя» игол	254
Николай Свиридов	
Рассказы из сборника «Синий бор»	
На исходе лета	255
Зима	258
Обношение	260
Валерий Азиев	
Первое апреля	263
Заменик	263
Однотомный	263
Сторож	263
Детей	264
Юлия Иванова	
Мя растек	264

К 33 Кедровая грива. Стихи и проза литераторов Нижнеуральянского региона/Сост. С. А. Луцкий.— Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1998.— 272 с.: ил.

ISBN5-7529-0714-4

В пер.: 1500 экз.

В сборник включены стихотворения и рассказы авторов, рождением или судьбой связанных с суровым северным краем. Неравнозначные по своим литературным достоинствам, они привнесли тем не менее создают достаточно полную картину чувств и мыслей нашего современника.

Выход книги приурочен к 70-летию Нижнеуральянского района.

В оформлении использованы графические работы художника из поселка Излучинское Александра Тавока: «Сны и зорюки. Непогода», 1997 (раздел «Встречи»); «В дождь. Алма», 1997 (раздел «Зорюки и бисера»); «Зорюка. Похур», 1998 (раздел «И в шутку, и всерьез»); «Старый кедр. Вариетан», 1997 (раздел «Летский уголок»).

К 4803010205—021 Без объявл.—98
М 158(03)—98

ББК 84 Р7

КЕДРОВАЯ ГРИВА

Составитель Луцкий Сергей Артемович

Редактор В. В. Мылов

Художник А. В. Линн

Художественный редактор В. С. Солдатов

Технический редактор Т. Н. Черепанова

Корректор М. Ф. Худякова

Лицензия на издательскую деятельность ЛР № 064913,
выдана 14.01.97 г.

ИБ № 214

Слабо в набор 29.05.98. Подписано в печать 27.07.98.

Формат 84 × 108 1/2. Бумага офсетная для ВХИ.

Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 14,3.

Уч.-изд. л. 15,0. Тираж 1500. Заказ № 215.

Открытое акционерное общество

«Средне-Уральское книжное издательство»,

620014, Екатеринбург, Малышева, 24.

Издательско-полиграфическое предприятие «Уральский рабочий»,
620219, Екатеринбург, Тургнева, 13.

